Конец Покемаря

ВИКТОР ІВАНІВ КОНЕЦ ПОКЕМАРЯ

ISBN 978-5-902945-22-2

Подготовка текста
Елена Горшкова, Алексей Дьячков, Сергей Соколовский

Комментарий
Алексей Дьячков

Дизайн
Сергей Пацюк

Іванів В. Конец Покемаря. —
М.: Коровакниги, 2017. — 404 с.

© Виктор Іванів, наследники, 2017
© Коровакниги, 2017

Содержание

Атос Remembrandt 11

Жирный шифр, в инее шарф
I. Курево 33
II. Солнечный и Гибралтарушка 58
III. Эпизод на Ветрине 83
IV. Опер из Кыштовки 109
P.S. Сквозная щербинка 131

<Рассказ–Черновик>
Рассказ 141
Мануэль Руй Кошта, или Рука, указующая берег 145
Острова зрелищ 149
Пабло Рамирес 153
Утро юрты 166
Марафон 168
Краснорозый 170
Переодевание и разоблачение 172
Жути помирай 173
Две сказки для детей Стенли 176
Толстой-Американец 181
Через выстрелы и взрывы 184
Струйка песочных часов 186
Покидая свое тело, как пожарище 189
Волосы Влади 191
Круг природы 195

Истлевшие фото 200
Али-Баба схвачен 204
10 лет, 20 лет 206
Черновик 208
Про арбуз *(сценарий)* 211

Повесть о Полечке
Часть первая. Поминай как звали, начинай сначала. 219
Часть вторая. Жигуленок «Москвич» и зиппо на джинсах 237
Нулёвое окончание 248
Часть четвертая и последняя 274
P.S. Песнь Кассандры 281
P.P.S. Письмо Ольге Николаевой 284

Тиффози барнаульского «Динамо», или Консилиум колдунов 289

Конец Покемаря 311

Комментарий 379

Приложение 399

A T O C R E M E M B R A N D T

Атос Remembrandt

Святославу Одаренко

Если разделить опухшую щеку спящей земли на квадраты и трещины выпирающих плит, то ее заливистая слюна стекла бы в одну из них. Соляная копь не обрадовалась бы исчезающим при солнце колодезным девочкам-старушкам, а утвердившихся звездными гигантскими шагами на тополевом пухе квадратных платков не удержали бы сны и разговоры, которые повторялись из раза в раз. Сны, не отличавшиеся от разговоров — с надвинутой грозовой тучей, с оползающим преследованием языкастых змей, обожжевших нёбо. Разговоры на одном месте — зарастающие лопухами, сдутые одуванами.

Здесь в марте дыбились здания, исчервленные потливой корой, — по которым древесно оползали кораблики, — вы, все еще забывшиеся в детстве, пускали бы их по фиолетовым бензиновым лужам — как пробуждающие утра по пионерским зорькам.

А в марте — когда отмокала охра, побелка и известка — когда отсыревали бы, как лоб, стены квадратных зиккуратов — погибельно поящих нечистотами землю, — да, когда солнце набегало сюда — вы просыпались в обморочных белых потемках — только когда натыкались на графитовые надписи стен новокаиновых

платных клиник — таких как «КАТАРСИС», и вашей отлучки здесь не заметили бы.

Почему-то именно здесь — на фланелевой выпуклости глобуса, на бумажных кубиках жеванных зубами спичек — и оказывался сбывшийся календарь. Почему-то именно здесь — в соседнем подъезде через десятые руки обнаруживалось формальдегидное заразное вскрытие всего этого места. Почему-то к этому бельму глобуса именно здесь навели лампу теллурия. Потому что именно здесь сбылась вся ваша жизнь в ее снах, хотя более убогой полянки найти было нельзя. И дыхание легких устилало тканевые перины, которые воскуривали на дымчатых руках, — на памяти легких и были сотканы те небесные небеса, которые затем обматывали в саван ваших покойников. Именно здесь сличались обмылки сновидений и проточная водичка щегловитых собак, именно здесь возникали сомнения в том, что все существует на самом деле.

2.

По краю подлизывающего сумерки горизонта, в чернилах обода трамвайной пыли, из тени диплодокова желудочного сока в белом и солнечном прямоугольном оконце падающего из-под купола света — никто, ни пыль, ни птица не могли упасть и снова встать в этот квадрат

храмины — окруженной стенами белого лазарета. Белой известкой, согретого солнцем, спящего тяжелым соленым сном. И распоротые раны в кровостоке сумерек прямо били в расцветшие виски. Являлись бьющей кровью, новой и не гнилой, били в голову — замкнутые в белые стены — в пыли, нападающей на санаторий. Где вечные престарелые красноватыми синяками лиц, позолоченными помадой горящих губ и обожженных божницами щек, — выходили к машинам за провиантом, в растительном зонтичном, борщевичном, наколотом веснушками размолотых семян, — там шли, до слабости ног, до голода объеденного воздуха, до розоватого махрового кашля, до половичного марева, до кожуры из детских анекдотов.

Вот там христианский стегоцефал вел тебя мимо макового и красно-тюльпанового или люпинового могильного камня — из которого била кровь, пролитая как вода. Он отказывал себе во всем и ел растительную паутину. Пустыми глазами глядел на тебя и поднимал ребенка в рост на руках, держа его в окне и почти сбрасывая с балкона. Там, на окраине сонного царства кубышек, шишек, насыпных гор с траншеями — пирамидок, в котором дубочки топотали и шелестели, в ровном асфальте каналов, на шатких мостиках, — все водило вокруг, щелкая сухими пальцами кожистых рук, шлепая зелеными потными калошами сухих ног. Восседая на подушках рваным

пахом, ты бы пожелал направить эту сияющую артерию прямо в печь солнечных фонтанов крови, которые он заглушал крагами-рукавицами, — он так и крестился щелчками пальцев. Травоядно, обманывая и ожидая услышать, почему мертвы здесь только те — чья пролита кровь. И китайские болванчики, оплетенные лианами кровеносных сосудов, — бледные, фаянсовые и молчаливые, — лишь отсвечивали.

Блестящая тарелка, кастрюля — надетая на голову — переменила все в годовалом ребенке — увидевшем солнечный блеск и отпиленное дно черепа. Мальчик видит живыми глазами. У тебя затекают ноги, — произнесла черноглазая женщина, — твои колени ослабнут — из них выходит все плохое. Дети видят демонов, — продолжила она уже как огненная волчица. Да, демоны особенно хорошо отражаются в алюминиевых тарелках и кастрюлях, промолчал он. Демоны живут там, где аскеты отказывают себе во всем, прожевал он травинку салатца и подумал, что утром можно и не проснуться, а то и вообще отойти отсюда. И лег на спящей кухоньке пустого жилища, где трещал хворост, висели щучьи хвосты, холщовые головы гадюк сторожили кровавые гиацинты. И как было допрыгнуть до этого слепящего солнечного квадрата в лазаретовой церкви, ведь солнце зашло.

3.

Солнце на ободьях глобуса, распрягающее флеровую ложбину ремня — из собственной кожи. Не умещающееся и до пустой темной головы — поднимающееся из болота. Вокруг изъеденной тлей канавы — зубы памятников с черными ростовыми портретами — раскусывают земельку, посеянные зубы, ноготки как выпавшие на нитке детских шнурков — в кармашек, лунные осколки. Над могильной станцией метро, над дорожками и полуметровыми тротуарами — чтобы обтер бока и лицо трамвай, над перевернутым кладбищем поют, щебечут птицы — они журчат, они цветут, и ряска на пруду, застойная вода — все зеленеет золотом и врет об утонувшем небе.

Чем больше заходит на грудь бугорок — чем сильнее заползает потонувшее солнце — тем слабее ноги, чем больше бессовестных ночей, чем тоскливее летучая мышь, чем пиявка лечебней — тем скорее ты упадешь, и выйдет из тебя недотрога, закрывающая с плачем лицо — убегающая далеко, причитающая горячо.

Раскрывается огромное солнце, умывается с апломбом свинцовая гжель, умирает и оплакивается во сне истошная, как барабанный бой, лягушка, провожает тебя качель и сбивает с ног — забудешь если, и пойдешь с разбитой головой. Нумизматики не понять тебе, охраняй лучше завтрашний день, а не то

над шпилем луна незаметной беленой отравленного блина — подаст тебе измазать лицо — и сыпью покроет лицо, нечистым сделает его и рябым. И тогда уже выспится тобой, как мукой обваленным, облеванным, измалеванным, и будет обладать светом белым ночным и дневным.

4.

Близнец и его Глумец долго жили бок о бок, пока Близнец не выгнал Глумца. Он нежил свое тело, утопая в соломе розового матраса смуглой с поджирками кожей — подернутой бледностью и холодом утреннего сна. Спать в заскорузлой квартире втроем на заметенном газетными конфетти полу и, седой головой покачивая, разговаривать о чужих женщинах. Вот эта была турчанка, а я ей сказал, — крестик-то убери, — глядя в немые глаза, я ей сказал. Холя нежить и тело. Когда в свете фонарей они выбегали на вокзальную улицу — и сами как расцветшие бархатцы.

Чванство приходило от трезвой свиноты, тогда как скорбь не унималась в животных и воловьих глазах — когда шествовали на проводы. Что важно было для тела — лучшие панегирики, смачные типографские буквы — знать, как лучше продаться, но быть неподкупным. Потому прием на кафедру — отнес его к стратосферной,

звездной, олимпийской страте, в гнезде сияющих светил, — и тогда он выгнал своего Глумца. Хотя сам ходил как нищий, в расстегнутой молнии, в тулупчике без пуговиц, в стертых сандалиях.

Он был словно причастен к великому знанию реклам большеротого стиля, он словно бы видел себя на глянце страниц — и в старом византийском пошибе. Ходил и жил как нищий — повторяя тех гордых ханыг, замызганных, как коврики, тех эпилептиков, слушающих соседей через розетку. И все должны были целовать ему ноги.

Глумец же не только научился его интонации — но и точно, как биржевой актер, повторял мимику, осмеивая несколькими короткими самодельными гыгами — которые мастерили на ходу и после которых сразу хотелось на крюк. Один раз, разжимая мышцы лица от мороза, он так напугал прохожую, что та вспомнила господа.

Ночью в поезде их приняли за Кощея и Арапа — так они и проехали станцию, охраняя двенадцать неразумных девиц, берегли свое масло. К ним подсели двое — один худой аполлончик, превратившийся вскорости в солового битюга, и плодоносный смехун, очкасто дразнивший медовых пчелок. Вместе они объели красных раков заснувшего мужичка, а потом бесстыдно над ним же и насмехались.

Все вместе они шли за планидами фонарей в длинной аллее, каждая из которых вела к забытой могиле — их утраченной первой молодости — которая проносилась за окнами вагона поезда — ездившего, как карусель по кругу.

5·

Совсем белый лицом, на котором под козырьком волос упрямый белый мрамор, снег или кварц лба с искрящимися песчинками глаз, он глядел вниз с отвеса, и там синяя река вены бежала в зеленом пухе и мехе дерев и трав, так он глядел на свою руку, словно готовый упасть, но не панически, а делово, как бросают чемодан с принадлежностями или спускают на салазках черный рояль.

Вот он сам пришел черным паном Облезем, и в его зубах застрял детский бубен, он раскоряченно сел, наклонившись над собакой, и она взяла у него этот бубен, сгрызла его и издохла, как будто пирогов со стеклами нажевалась. И он сел у радиоточки и сидел как мертвый до того, как по радио не прозвучал чей-то знакомый скатанный войлок.

Так он бегал в детстве по лесу, не отличая бузины от белены, и так он теперь сам ел присмиревшую, как липовый цвет, собаку, которая висела у него на загривке. Или это собака ела его, а он был ей донором.

А белена слюны измазала весь подбородок. Собаку он бросил в котел, добавил туда картофанов.

«Бройся», — сказали ему. Бройся, ешь сладенького, посмотри на июльских стрекозок, на павлиний глаз, на лапоточки. И он брился в первый раз когда — то заволакивало глаза от его собственного ослепительного лица, от этого белого лба баловня всей деревни, вечного младенца, бегавшего нагишом, который не знал себя и не узнал бы, если не приехал бы за ним Черт-из-за-реки, не забрал бы с собой в защечном или заплечном мешке, куда он забирал всех насупленных детей, и не увез бы кормить их косточками своего черного бульдожика, который был запряжен в их карету.

И он выбежал в страхе в ночной белой рубашке на полуночный двор, где по лунной дорожке убегала эта адская свита. И теперь он проснулся и понял, что собака, которую он любил, нежится в его рубашке, вынюхивая мертвый пот внутренностей в рукавах и воротнике.

6.

Розово-пестрыми от жилок глазами, в которых по краям держались с утра тени беглых людей, он спал сгоревшей на солнце спиной вверх, а потом оделся в сухонькую одежку, убежал на собачий поезд, сучивший ногами, обгоняющий ветер.

В электрическую бурю он мог родиться, мог подставить свою рожу в окно первого этажа и горько посмеяться над зажмурившимися там людишками. А мог усесться прямо в сугроб и читать там интересную книжку, пока не зажгутся фонари и не пойдет снег.

Лицо же его — замаячившее в вашем окне — не сойдет с него, поэтому лучше завесить стены портретами Бауи или Злого советника Рохана — прообразами которых он являлся, как и многие на зараженной пленочке легких — парчой окутавшей эту местность.

Что до местности — то охоложенные холей белокочанные девушки здесь — в этой деревне — любили пересуды друг о друге — и наивность этих сплетен дошла до того, что он обнаружил заветный Алеф в квартире соседа — там оказался сапожник — у которого тачала вся деревня. К сапожнику тянулись — он был фотограф-любитель. Сочащиеся черной магнезией из его глаз пёзды выставились на всеобщее обозрение — более омерзительного инвалида зрения выдумать было нельзя. Но это и был рентгеновский снимок той местности, где жили вундеркинды, заросившие мир своей логикой.

Сдавленный туберкулезным кашлем, остановившийся в своем росте безумный Белинский, прижимая двух младенцев к палой груди, вечно топчущий свои ботинки, — он радостно терпел бесконечные удары

по морде, которые неисправимо получал. Хоть от хипстеров, охранявших своих жен от его посягательских насмешек, хоть от бесконечной гопоти, отбиравшей зонты и лимонившей с криками «о, пидор», хоть от аборигенов, разбивавших коленями это лицо в пьяной алтайской ночи.

Он, тянущий к вам пьяные ласковые руки, выбрасывающий деньги из карманов во все стороны, выпадая из авто, он, скачущий с бритвой во рту, пьющий и прикуривающий от банана на сквозняке, жалующийся и будто харкающий кровью, — в конечном подсчете окажется святым, безумным праведником, даже если не пощадит своей бритвой соседа, сапожника, хозяина Алефа.

7. Мальчик Гей и Герман П.

Меня надо научить золотому слову, сказал Мальчик Гей, по возрасту лет двадцати, а по бледности и сорока. У тебя есть что сказать, но ты сказать не умеешь, поманил он меня рукой с серебряным колечком. И ты должен пойти вон туда — есть такая школа — называется «Золотое слово».

Есть такие блюстители, блюдущие чистоту речи, которая выводит их нежные души за узкие плечи. Сколько было уже таких — и те, которые пели «ты теперь у меня котенок», и те, что подучивали роли манаге-

ров-стукачей, и те, что в белизну молодости уходили гнилыми носами. Предпоследний раз я застал их в поезде.

Я отлучался в одного в тамбур выпить коньяк, который спрятал от моих друзей — Носатенькой и Сокола — они барабанили мне в стекло купированного вагона, смеялись и гоготали. Стоило ли говорить, что всем соседям по купе сразу же стало понятно, что я в таком вагоне еду впервые. Соседями были два инструктора, они везли детей в финскую школу-баню. Из их рассказа я узнал, что детей больше всего интересует детская педофилия, а родителей — их собственные перверсии. Все это было у меня перед глазами — особенно в шесть утра тяжело было перехватить харчок, когда один из вожатых, не тот, который подкачанный молоденький физрук, а другой, с вампирским блеском в глазах и хабалением, сказал: «Дети, вставайте, а не то я напишу вам в чайник».

Когда я рассказал эту историю о золотом слове Речному Горынычу — он красиво это все изобразил. Мускулы Шварца под фиолетовой майкой тоже расплылись в улыбке. Глаза приобрели на миг белый блеск глупости, а вскоре мы заразились блюющим хохотом:

«Я был на семинаре: чему мы можем вас научить. Первым выходит мужик и говорит: ну в 90-е я торговал, умею торговать и наябывать. Второй выходит баба и го-

ворит: ну в нулевые я занималась фундрайзингом, умею просить деньги и мужиков разводить.

Третьим появляется парень — вытягивает шею из воротника, губки плющит и моргаликами глупыми посверкивает: «Прии-вет! А я Герман Подштанов. Я пиздобол. Сегодня я скажу вам то-то и то-то, а вот этого я вам не скажу, потому что приходите ко мне на мастер-класс. И мы вас научим, как говорить золотые слова, и вы поймете, почему я оправдываю свою фамилию».

8.

Вы сами знаете, что просто пожать друг другу руку, а эти сны, все те же сны каждую ночь — венгерские медленные поезда, медленные лифты, разъезды в Кисловодск, вечное покаяние, вечный грех, морщины старухи на молодом лице. Вы знаете, Иван, эти сны снятся уже и мне, рядовому с ограниченной годностью. Но вы также знаете, что такое честь русского офицера. Тут два выхода: вечная мука одному, пистолет в руку другому, и потом вечная мука убийце. Это тот случай, когда нельзя не убить, не забыть, не простить.

9. Самый страшный рассказ о том свете

Это история стародавних и незлопамятных времен, хотя ей не прошло еще и полгода. Началась она со звонков го-

рячего телефона. Нежный бай, приехавший откуда-то из Ирана или с его границы с Арменией, как раз в то время года, когда в колодцах по горло стояла кровь, а мертвые головы лежали кружком на колоде. Пока он добирался до нашей деревни, много воды утекло и много крови застоялось. Однако его перемещение показалось ему сиюминутным делом. Семья обосновалась в городе, все быстро устроилось. Были: несколько разных республиканских школ, усеянные хлопком дороги к ним, забеленные стены дипломатических миссий, тысяча спектаклей тысячи театров. Мать и отец играли на главных сценах Союза. Бесплатные шмайссеры, формы костюмированных баталий со всего света дополняли нежный изнеженный характер склонностью к головокружению. Еще была боязнь забияк. Юность прошла в страшной дилемме: как принизить себя перед своими учителями и добиться смирения. Одного из учителей он сопровождал во всех бешеных перемещениях с новой женой. На его плечи пало и утешение брошенной учителем первой жены. Еще были боязнь или даже страх получить что-то кроме высшей оценки, сродни трусости загнанного кабана. Таков был его характер.

Но вот он обосновался в нашей закрытой деревне, где было восемь сильных мужчин и восемь сильных и красивых женщин. Закрытость деревни объяснялась

ее статусом объекта мировой и сверхмировой безопасности. Все это, откровенно говоря, шло вразрез с его нежными нотками мягкой и свободной любви. Единственное, что он принес в эту деревню, — горячий телефон сарафанного радио. Кроме того, он подарил первую дочь своей сожительнице по гражданскому браку. Дочери выпало быть нелюбимым дитя, если играть в дочки-матери. Лучшая подруга матери этого ребенка помогала ему, пока все не закоротило, но об этом чуть ниже. Он не смог сломать эту сектантскую семью: его страха и его любви не хватило на то. Безо всякого злого умысла хрусталь ревности, которую он поселил здесь, разбился о ящик гордыни. Сам ящик был разбит хрусталем, и от этого открылись небо и земли, до дна обнажились могилы и шахты. Введенный принцип свободной любви в закрытой деревне, а если честно сказать, в самой ее цитадели, где императрица проектировала звездное небо и проецировала лучи света на землю, мало способствовал созданию отношений в духе декамерона. Небесный свод рухнул и рассек осколками все вены и сухожилия здешних, снял все скальпы и рассек все мышцы. Но одна могилка так и оставалась открытой. Теперь ее засыпает прошлогодней листвой, и она не пуста.

Горячий телефон, на другой стороне которого дежурил я, позволил мне вызнать все секреты закрытой

цитадели, но пазл собрался только сейчас, когда был уже не нужен никому, потому что никого не осталось.

Я решил вскрыть эту секту, постепенно все больше втягиваясь в череду мытарств, которые мне пересказывались этим доносчиком в образе прекрасных картин. Он привел меня к девушке, которую я заставил себя полюбить силой. Это была лучшая подруга императрицы.

Кроме того дома, где располагалась цитадель, в деревне были базар, церковь и бордель. Плюс некоторые здания ничего не ведавших хуторян — буквально пара домов.

В центре цитадели жила девочка с солнечными кудрями, пронзительная по своей доброте чадолюбивая мать, у которой не было своих детей. Зато она отвергла всех своих поклонников, каждый из которых в любую минуту мог петушино и птушно вступиться за нее, но все они вынуждены были терпеть друг друга.

Когда я бросил свою первую сожительницу, мои, а также и все остальные взоры обратились на Девушку-Солнышко. Это не понравилось ее брату, о котором собственно я и веду этот рассказ. Его оболгали, считая наркоманом, — никто не знал, что он участвовал в секретных операциях, охраняя банки. Никто не знал, что он истязал себя ради своей сестры, видя ее мытарства и мучения, ко-

торые достигли такой степени жестокости, которая была не сравнима ни с одной из самых прозомбированных сект мира. Брат пытался ее защитить во время ее офелийных ночевок в сугробах в осеннем лесу. Этот брат отдал бы за нее все.

Он был рожден со мной в один день. Она отказала мне, и это был ее выбор. Когда же «иранский колхозник», разный для всех, притворный со всеми в общении и обхождении, но с каждого бравший слово «не передавать другому», полностью накрыл себе поляну для вечного секса, в лесу у деревни уже были найдены несколько мертворожденных детей. Об этом никто не узнал из-за строгой секретности этой деревни. Вернее, в цитадели думали, что базар, и церковь, и бордель не знают об этом. Тот человек из Ирана, которого я взял как языка, оказался плохим информатором.

Вот пример тому. Когда всему предприятию этой секретной лаборатории угрожала смертельная опасность — бандиты, гнавшиеся за белогорячечным милиционером, грозили перерезать всю деревню, я получил донос о том, что человек этот был выброшен на улицу замерзать и нарочно обречен на лютую смерть. Я вынужден был приехать в эту деревню — дорога заняла у меня целый год — так медленно текло тогда мое время. Я приехал и первым делом убил отца императри-

цы, который организовал похороны белогорячечному. Свою же гражданскую жену я отдал толпе. Однако дело этим не закончилось. Несмотря на мое решение любой ценой сохранить личный состав этой капсулы, бункера, стакана, или, если хотите, паучьей банки, я не сумел выполнить эту задачу.

Случай помешал мне. Я снова приехал в деревню по своим делам и остановился на окраине леса у самой высокой сосны. Я увидел стоящих и разговаривающих с Девочкой-Солнцем двух мужчин, в одном из которых я узнал иранского колхозника, а во втором — ее брата. Душевное помрачение овладело мной, черное облако разлилось перед глазами. Я дал выстрел. Пуля прошла ему между глаз. Я подошел ближе и увидел немую сцену: иранец целовал взасос губы Солнца. Они вообще не заметили ни бесшумного выстрела, ни трупа, и медленным шагом направились по освещенной лунной дорожке.

Я похоронил тело в лесу в той единственно вырытой волшебной могиле. Следов его не нашли. Поиски начались с недельным опозданием. Они никогда не увидят его в лицо. Свободная любовь на смертельно опасном и сверхсекретном объекте рассеялась после удара молнии, поразившей сенсор головной башни. Базар, церковь и бордель исчезли. Осталось лишь кладбище, по ко-

торому носятся видения, тревоги, муки прежних дней. Но бывают и вспышки солнечного света, потому что задание, данное императрице, было выполнено — глаз солнца был настроен точно. Весной кладбище начнет плодоносить. Я убил не того человека. Лицо Девочки-Солнца превратилось в мертвую маску. Ее лицо высосало насквозь второе, черное солнце в вершине короны всех координат. Ее здесь нет, здесь нет никого, только тени и шкурки ящериц на оконном стекле. Во мне нет ни капли жалости, ни капли сожаления, ни капли сёст(р)ыдания, и нет никакого желания уничтожить дезинформатора. Он не обрезан, хотя это требуется сделать в двух местах — вырвать и язык, и причиндалы. Довольно о нем. Его дело полоть огород.

ЖИРНЫЙ ШИФР, В ИНЕЕ ШАРФ

I. Курево

ПОКА НЕ КУРИЛ

Выпал из сна, и никто не поймал. На ногах нашел себя у окна, а верней, не себя, еще до того, как в память пришел, увидел влетевшего в комнату голубя, жирного, мясного, теплого, — расселся, развалился на подоконнике. Взял в руки, забился в руках, страшный, живой — не такой, как со свернутой колесом головой и растерзанными кишками, не такой, как спрессованный в папье-маше шиной. Выбросил в окно как чуму, тварь, заразу, дурное предчувствие. Хотя рассказали потом, успокоили навсегда, что не голубь, ласточка должна прилететь, постучаться в окошко, из глиняного домика своего. Но пропали ласточки у нас, да и не было их никогда.

Приложился головой к валику и отвернулся к стенке. Руки протянул вперед, роняя и догоняя чайную чашку останавливающим движением, опираясь перстами за воздух. Вытянув шею из пиджачного ворота, вывернулся из объятий, отвернувшись от укоризн, отошел от бодряка дорогого — не спал до этого сутки. Больше суток не позволял себе теперь, потому что за хрустальными сутками, копотью на пальцах, хлороформом начинался вдруг флюгер-ветряк, по которому раз повело-умотало. Заваливался, заливался на бок и не

долетал до следующей остановки. А передвигался прыжками. А если и долетал, то лишь далекий голос больниц. В самые большие глаза глядели провал за провалом, пропасть за пропастью, и всякий раз бултыхался на дне, на дынном мелованном донце. Положил себе сутки, да как бы не наложил руки.

И барахтался, забоялся в простенке, и только на миг выключился, отключился, потеряв ум, точно ударившись головой об стол — как друг тогда бил, не в силах больше бороться, а он бил друга. Наткнулся на твердую не то мысль, не то пилюлю, и очнулся, растопырив руки, растворив окна, — у той же стенки, на подъездном козырьке.

А полез туда за папиросами погарскими, копоть которых невозможно было вдыхать, которые мгновенно гасли. Выбросил в щель наклонного подъездного окошка на крышу того козырька. Взялся было за дело — не курить смело. Три часа претерпел, пропотел вчера, а потом побежал по лестнице вниз стремглав, и выбежал на весенний ледок, поскальзываясь вперед и назад, закачался, но потянул вверх руку — лежат ли погарские, початые, полосатые? А вдруг бы, дрогнув, схватил пустоту?

Хотя как же, нет, начал припоминать, тогда не курил еще, но уже носил разрисованный гуашами пионербол-барабан, и ходил по весенним мартовским ули-

цам, когда ветерок лихорадочный отдувал ворот, горело лицо, и ездил ждать-встречать на дальнюю станцию метро — четыре часа ждал-торчал, но не дождался, пробежала мимо, проглядел видно, ждал-провожал. Тревожно вслушивался в трамвайный шум за окном, в автомобильную фальшь, и расчерчивали лучами верх серого потолка фары. И не мечтал тогда, только мучился.

Еще слабая тусклая лампа горела, и красным стоял от пыли шкаф, а на нем пригорали надписи книг. И лежа разбирал надписи, и слова повторял. Сами с собой, выходя из печатной обводки, из рваной брошюрки, повторялись слова: святая рептилия, божий одуванчик, штатив, штатив, заклад. Закладушник что лютик тщедушный. И учителка-химинька перед глазами, и штативом, штативом по накалённой башке. Повторял: «нет, нет, слава, слава аллилуйя», а затем набегало на уста по себе само богохульство, и вновь — «святая рептилия, Христос — святая рептилия», и махал штативом, и штатив уже сам махался в воздухе, и слова сдавливали горло, раздавали карты до бесконечности, до полного изнеможения, изможденья, измудоханья, а потом наступало утро.

И наползал на глаза оторванный козырек фуражки военстроя, а брови выкрашивал в зелено, а вельветовые брюки разрезал до коленных вен, и шел на мост, где стыл ветер. Но не встретил ни разу солдат, и вообще ни-

кого не встретил. А глядели все исподлобья, чувствовал на себе взгляд чужой, подтверждал: учись, пока я живой. Чувствовал и когда прыгал за ней через турникетную яйцерезку, а потом уезжал в Искитим, где каньон, и потом возвращался из Искитима.

Раззнакомился раз со Столовниковым, вернее хотел раззнакомиться, в зеленой комнате молчаливого и странного этого медика, когда поздравлял с днем рождения, а рядом были Мордов, Обоина, Чая, Репа и будущий генерал Шандарон. Рассказывали, как выпивали все вместе, но без тебя, дружили еще с гражданской, еще с десяти годов. И судорожный с челкой Репа говорил резиньяции, тоже тайно вздыхал, и потом сказал: за такое признание, исповедь о себе — такую вот исповедь, что не приняла бы и Святая рептилия... Когда только загадывался, а был уже у всех на виду, долгую заповедную речь хотел вести, говорить только правду, сразу всю правду — о чем — о том, что хотел убить, и боролся, мешаясь умом, о том, что хотел истребить, о том, как мучился и умучил себя. Но не приняли ни в клуб Медичи молодой, ни в клуб рецептурный, куда отпускали — а? что? — циклодол, и ходили бледные, испытуя себя, бледным красовались еблом. Хрюня, да, Хрюня, Авдей, и еще Москаленко. А Репа прямо сказал — нужно бить морду — после публичного выступления — да и в чем

признался-то — никто ничего ведь не понял — со сцены Дома актера, и потом за четыре года ни разу не поздоровался, так увлечен был придуманной ревностью, так оскорблен был ждунчик наш четырехчасовой, в высшей силе любви разлинован.

Что было до этого. Страшные рычащие морды из ящика, они заполняли тенью всю комнату, покачивались в голове и говорили невыносимые такие слова, а в это время как раз расстреливали, бомбили площадь и белое здание. Но воспринималось совершенно в порядке вещей. И в этих словах была лишь свастика веры. Опустели залы шахматного кружка, люди жестоко прощались и ждали погромов — в один день было изрисовано тогда еврейское кладбище. Не приняли, отпрянули, расторгли союз Земли и Воды.

Циклодол, я сказал, и ебло? А теперь циклодол мы крадем, без него жить не можем. Лечит тремор он и неусидчивость, механическое запаздывание, когда выступает из плеч запуганная до смерти в детстве болезнь. Да верней, чтоб было верней, маслом смазывают железные все суставчики, суставчи́ки, чтоб не летели, споря и препираясь, слова и картины и чтоб не выбежал на улицу за картинами и словами в погоню, хотя надо бы без оглядки бежать от этих слов и картин. Чтоб не разгонял свои мысли, чтоб не уносились они в ва-

гоне чая, в чайном вагоне. И не забывался чтоб светлой полянкой, а за ней ручейком, а за ней Леной Жарких, про которую говорили «Жарка́я» и просто — «жаркое», чтоб не было полыни во дворе и за школой, и развязавшегося языка и болтливости, которую мысленно кто-то произносил в голове ввечеру, а с утра уже сам словоохотливый язык, — запивать циклодол когда пивом — сладко — белесое счастье тогда наполняет, и сытным снотворным не потчевать чтоб себя, чтоб речь не рассказывала сказку, которая заканчивается, не начавшись, от этого есть — «розовые таблетки».

То теперь, а тогда — красный шкаф, штатив, святая рептилия. Взял, обматерил мать и решил себя сам наказать — запер дверь и на клочочках бумаги писать стал заветные завещаньица, все припоминал, что кому отдать из предметиков, а когда устал уж писать, стал смотреть за окошко, там два огонька, как три говорящих зеленых горошка, и цветочки, немая, молчащая улица Красная. Но вот гаснет окно, и слово в голове возникает тогда — ridicule, но прослышала мать шевеление и запорку дверную сбила ногой, а окно уже высадил чем? чем? — да гитарой. Да, гитара опять не хочет молчать, и одной ногой уже шагнул туда, за окно, но вцепилась мать в ногу другую, никуда не пуская. А потом в холодной комнате — у выбитого окна до утра все записывать, чтобы ис-

поведнее получилось. А с утра — петушок пропел давно и Чае сказал, — я покончить хотел с собой. И изобразил выпученные глаза на синей чернильной голове авторучкой — какого-то прочного черта, который ты и есть, сам того не зная, так вот она, первая бессонная ночка, — и потом днем накатывал сон, за едою в столовой, и долго еще днем после накатывал на шпендика сон-пронесон.

Но теперь нету больше непрочного сна над прочной косячной бессонницей. Потому только сейчас вновь распустил себе сутки — сутки бегал в лесу, но вернулся, проснулся, обратно вернулся, ну а если бы вдруг не сумел?

Рассматривал фотографии, как всегда бывает у новых знакомых, те — старые, из альбомов, не задумываясь, любопытствовал. Две сестры, одну из которых никогда не видел, Леля и Женя. И увидел вдруг на одном фото Лелю, которую никогда не видел, в окружении тех же медиков школьных. Остановившихся с запрокинутыми головами, с улыбками, Шандорона, Обоину, Мордова, всех. Веселых, точно таких, как ты их запомнил, дружных будущих докторишек, а называлось «компашка». А про них и помнить забыл, и в гостях был совершенно в других, и вот они: «скажем дружно», все одну макаронину тянут и тянут. Точно такие же, как запомнил их навсегда. И такими останутся детскими, потому что никогда больше не встретишь. А если и встретишь,

то словно не узнаешь, подойдешь к педиатру Столовникову и спросишь: вы ведь брат того Леши? Да, говорит, брат, а сам машет палочкой, движение регулирует. Бабская профессия — детский врач, а теперь вот в фуражке стоит, да, это я, — называет по имени, — Витя.

Внимательный, плотный, осторожный, со странностями небольшими, выпуклым телом своим, а так, как будто взрослый мужчина уже, и даже старик, — так все они кажутся потом, прорастая из прошлого, — молодым стариком. Да, еще, что скрывать, когда видно, обиженный словно и полный тихой недоброй любви. Но не выдавший себя — хотя отчетливо видно. Зеленый сумрак квартиры — пришли к нему неписаные классные товарищи, а комната как аквариум. А, может быть, показалось — и продолженная эта любовь только привиделась, потому что внимание обратил на тебя, под бойкотом других, и к себе допустил. Но не хотелось идти, отверг сразу, не то это, дружба ненужная. И еще, когда расспрашивать начинал, отвечать не хотелось. И еда вспомнилась, вкусная — как мать, приходящая с праздника на работе и всегда говорящая, что ели тогда, в подробностях, что купила сама, что готовила, стряпала, и что ели. И тотчас забудешь, что ели, хотя столько раз о том толковали. Пригласил Столовников на день рождения. А ведь был угрюмый, хмурый, в заполосканной одежде, таким и остался, что дружить не хотелось, даже когда все от тебя отвернулись.

Вот так и узнаешь историю, рассказанную с другого конца, такие, что знает весь город. Ни кровинки на лице, красивая, неподкупная, словно отсутствует на уроках, а в голове все картины, живые, — спит наяву. Сероглазая, платье зеленое, что-то совсем не так. А потом вдруг кто-то расскажет, мать схватилась за провод голый, отец за нее, побежал спасать, а за ним еще брат, а надо переложить было провод палкой длинной, как гадюку. Но нет, тянут-потянут провод, словно невод, а сами мертвы уже. Выбежала с чердака, на даче, побежала прочь за околицу. Нет теперь ни матери, ни брата, ни отца. А я осталась. Вот так и сидит одна, и глядит одна, белый лоб, а живет, еще вот что бросалось в глаза, отречение. И потом кто-то сказал — так это она и есть, это про нее говорит весь город.

В твоем классе произошло, в параллельном ли, не знал, а ведь видно бывает. Вот так, заживо умершая, строгая, как офелия плавает, голову запрокинула высоко.

И еще другая — с которой была переписка, бледная, худая, больная, сонная. Сказала, что книги «Тарзан-приемыш» и «Чудовище» прочитала давно и вообще у нее новый друг. А потом встречаешь все в том же параллельном классе и не прощаешь, не разговариваешь. И вдруг узнаешь — лейкемия. А сфотографировал сам давно, в профилактории. Такой и запомнил, и не знаешь, увидишь ли снова.

Теперь это просто проверить — на «одноклассниках», находишь потерянных, очень радуются — что ты их нашел, где сейчас, кто? — засыпают вопросами. Но потом разговор иссякает, и не о чем спрашивать, так давно это, кажется, было. Да так и застыло — молодые старики и старушки — навечно впавшие в детство, остановившиеся в росте, такие, какими запомнил, живыми сутулыми истуканами — онемелыми рыбами, кланяешься им как мертвым. Нет общей беседы, нет классовой жизни, хоть выточены на одном токарном станке. А так пришел к шапочному разбору, словно и не было никого. Однако пересказывают эти колоны какую-то затертую книжку и продолжаются вечно, словно были всегда, и не умерли, и не переехали, всякий раз оказываясь новенькими, молодыми совсем, в совершенном том настоящем, которое всегда повторяется заново, и даже сказывает себя при повторном включении, и говорит с тобой о своем на забытом родном языке.

За зеленой комнатой приходит и желтая, Катина комната. И в ней снова сестры, сама Катя и вторая сестра — имя никак не вспомнить. И тот же альбом, а вернее, большие картонки с классом на них. И ведь и в этом классе учился, вот так встреча. Было краткой поездкой во вторую второгоднюю смену. Мама попала тогда под троллейбус, переехал ей ножки, и ходила на костылях. Проучился там целый весенний, вернее, месяц осенний. И

вот на снимке узнал — вот питон Угодай — Сережа Никотин, тиранивший в детском дворе, угрожавший, проткнувший резиновый мячик. Не забыл тебя в злобе своей. И вот он, оказывается, ходит и дружит с сестрой. Непохожий, взрослый, отверженец, сестра помнит и любит его.

Вот Клуха, шахматист зайцезубый, бросается в бой, покраснев, дерется с королем класса, с тем самым Никотиным, дерется и не сдается, а ты сразу же спасовал, забоялся, зассал и только мечтал: вот вернусь домой, а там — заживу. Но и там началось, в пятом классе. И было повсюду — насильничали, ругались над одним названием твоим, и твоим, и ее.

Вот Чвача и вот еще брат того самого Чвачи. Он с Клухой все препирался, был в стороне, довольный, здоровый, раздольный. Но не дрался и в сторону отступал, повинуясь приказу Кота. С тобой поддержать разговор мог — в сырых сумерках шли когда из школы, вернее в сумерках в школу, где засыпал на болоте, — на биологии рассказывали, отвечали урок, говорили. И желтые лампы, и темные тени голов, оглядывал их, оборачиваясь от доски.

Вот Кот Ламанча, рослый, огромный и добрый до времени. Сел за изнасилование, хотя говорили, что сама виновата, была со всеми по очереди, а потом повидала всех вместе.

А вот Лысенек, вивисектор, методичный тощий учитель. Любил длинной иголкой колоть, во время урока прямо — и так наводил ее жало, понимая, что ничему не сможешь помешать, никому не посмеешь сказать, понимая порядок вещей, а сказать — только хуже. Украл Лысенек триста долларов у соседа потом, учиться другому пошел.

На них как на утопленников глядишь в желтой Катиной комнате, где больше слушаешь маму ее, которая приму курит за круглым столом, рассказывает небывалое, как утопился на якоре дед-адмирал, как выслали и как цыганкой ходила, не в лагере, нет, на воле, на солнце, но где — в Воркуте, в Магадане? Рассказ небывалый, и смуглые в нем черепа, и строги движения — без датировок, в безвременье, рассказывает бичовка, колдунья и ведьма, и град насылает на весь околоток.

А Кате, да, Кате, рассказывать сам начинаешь — сначала одно про себя, без сюжета, рассказ за рассказом, и слушает ведь, так находит рассказывать страсть — то, как ехал на велосипеде и через руль подбородком ударился о поребрик, то, как хотел подлететь на веревке к другому балкону, как в тюбики зубной пасты пихал поклеп и мазню, в кого был влюблен и в кого, и так три часа, рассказывал, глаза закатив. И курил уже, и уже чифирял-вечерял, и затем в последний незапертый подъезд выходил. А как войти вот теперь в тот подъезд? Когда

с хрипотцой, веселым голосом встретится Катя, которую так оскорбил, ни с того ни с сего, возмутившись, что-де не умеет правильно говорить, и хуже, писать не умеет. Неделю болела потом. Рассказывала о мучительной жизни, у окна говорила, как голову просили ее распилить, как все давалось трудом поломойки, как дружили с темной сестрой, что уехала далеко за границу.

И потом узнавал, как упала с велосипеда и ногу разбила. И потом узнавал, кому отказала и кого полюбила. И потом встречал в новый год, неся смердящие лилии совсем в другую квартиру, и стыдился вступить в разговор. И укор в глазах матери, когда встретил, но все-таки поздоровалась. И как потом натолкнулся на ведьму — которая рубль попросила, словно переметнувшись из мрака навстречу тебе, в нищую обернувшись одежду, на перекрестке, когда те картины и карты те, что тасуют, ожили, плоскими тенями пошли вокруг тебя, а в груди горели слова, и облетали сладкой пыльцой вещества. Пошли хороводом картины и тени, которые в детских книжных кошмарах не взвидел бы ты никогда, а вот сами собой приключились. Так что не веришь уже — было ли в жизни, наяву, но отчетливо помнишь — не сон, забывается сон поутру и впотьмах, даже если сон когда-то бывает, когда на движняк пробивает, а тут так и стоит в глазах, как младенец с чашей и бритвой в руках.

Лена Жарких, забыл даже, как выглядела эта девочка, не все же лезть по альбомам и искать — толку не даст. Радуйся тому, что вспомнил хотя бы фамилию и как обзывали. И с чего бы это ты пришла мне на ум? Потянув одеяло жарких стран, жарких женщин и солнечных жмурок в забинтованной голове. Так и воспринимался детским рисунком — делающим первые шаги и обнаруживающим себя в первом слове. Зеленые, красные полки этажерки, белая чья-то тень, от которой отползаю, но понимаю присутствие — все, что запомнилось самым первым. Мамина тень.

Стоял на окне, смотрел на улицу Красную, произнес первый слог: МА! — это машина, красная и желтая, зеленая и синяя. Проезжают машинки — как игрушечные с высокого этажа. И словно вздрогнув, оборачиваюсь и узнаю себя. То, что будет потом вспоминаться именно так, и нарисует все остальное — бабушку, ее платье с орнаментом, высоту рамы и глубину улицы.

Вот начало движения — рассерженный, решил убежать в первый раз — уже во дворе, совсем с другой стороны, той, что стоит за спиной. Бегу — догоняет мать, хватает, несет, страшный испуг, выхожу из себя, столбиком-лбом.

Серьезно скуксившись, ползал по комнате, занят игрой. Второй голос, который потом со-

провождает всю жизнь, — теткин: Надя, а где папины ордена и медали? У Вити спроси. Как рассказывают сейчас — трехлетний, ползаю по квартире, играю медалями, но пока не снимаю с атласных подушек — черной и красной. Двух подушек — потому что если перевернуть, одна черная, а вторая красная. Командую. Но скоро сместят — запрыгиваю на лавку в белой фуражке с красной звездой. Рядом Коля и Аня, соседские дети. «Я командир». Почему это ты? Нет, не будешь. «Тогда я комиссар». Нет, комиссар — Коля, командир — Аня. Гневный, от обиды лезу драться.

И еще — нагрубил, обзывался на старших — Родика и Калюжного. И убегаю от них, бегу из всей мочи, небо надо мной, сбоку забор. Но вот догоняют, и в смертный миг хватают, и тянут за руки за ноги. Будешь? Будешь еще?

Быть начинаю. Последний класс. Передвигаю фигуры и пешки указкой на сцене филармонии. Международный турнир — взял смотреть за ним тренер — горд, интересуюсь ходом игры. Рядом Белявский, небритый Псахис и наш — Рубан. У нас в городе больше гроссмейстеров, чем в Рейкьявике! За сценой филармонии — для всех бутерброды с колбасами и тархун. Странно быть на сцене. Сам пытаюсь играть. Получается скандально — выясняю у международного мастера, как там и с кем встречается

его ученица? Мне выговаривают. В бешенстве тренер — старый друг семьи — Владислав Иванович.

Вот он приходит к нам и садится на красные прямоугольные подушки детской дивана-кровати — которые снимаются, и можно валяться на досках, которые пахнут доской, на жестком лежать головой и думать. Вот он достает маленькие шахматы и показывает, хотя я уже умею ходить. Называет фамилии: Чигорин, Пол Морфи. Свет падает на красно-черное одеяло. Блестит лысина, добрые глаза.

Теперь он ругает стишки, возмущенно. Начинаю дерзить, исключает с занятий.

Игра — кричу: «флаг упал!», «короля срублю!». Тот, с кем «встречается» ученица международного мастера — взрослый мужик Дима, сдается. Подходит Владислав Иванович — давно уже сделаны нужные сорок ходов. Так, обманом, выигрываю первый разряд, переступив через все.

Утро. Февраль. Запоминается, что успел оглядеть — секретер, синюю муть в окне, раковину. Звонит Сережа Владимиров. Владислав Иванович умер. Не верю, сразу же приезжаю к ним, на другой конец города, тоже с гордостью думая об этом. Там тетя Нина. Ушел к ученице, сказал «недалеко, и ненадолго» — часто будет потом повторять. Умер, поднявшись на пятый этаж.

Жаркая смерть казалась, когда повалились один за другим на даче отец, мать и брат. Солнечная пыль би-

лась вокруг хвоста опоздавшего провода-полоза. Здесь же серый февральский день, грязный снег на лопате, землица, пронимающий ветер насквозь. Гроб. Комната. Все на ногах. Смотрю на ученицу международного мастера — не разговаривали после скандального «у тебя кто-то есть». Бледная, стоит, сохраняя спокойствие, глаза как сталь. Начинают душить рыдания, так что не остановиться. Станет легче — поплачь, говорят. Как же — ведь это я заплакал, ведь это у меня есть сердце. А сам за собой наблюдаю, ведь это горе-то какое, и горд этим горем. После выводит себя на чистую воду герой, признается во всем. И в книжке читает: «Длилось час. Настоящее горькое горе — в первый раз». Настойчиво декламирует, барабаня, на уроке отличница И., ученица международного мастера.

И пока носят борщ и компот, видишь, в последний раз собрались вечерять шахматисты. Международный мастер рассказывает, кстати, весьма, — отец мой инфаркт перенес, сказали бросить курить. Но он, знаете, предпочел не жить, чем лишать себя этого удовольствия. С красным носом кивает кандидат в мастера, подвижник — он возит детей в другие города. Ученица И. рассказывает потом, что он пьет там. Кандидат в мастера рассказывает, как он обманул цыганку и убежал. Шапиро еще, которого видел, когда играл с Ницей, четвертый

разряд, молчит. Он, кажется, жив еще. И Розалия тут же, с двумя дочерьми, толстыми девочками, красят волосы в черный цвет. Розалия отличает мертвого от живого по фотографии. Она ворожея. И видела будущее, но только если болезнь и траур.

Появляются в доме тети Нины иконы. Она вся седая как лунь. А утром, в день похорон, открывается дверь боковая, и там молодожены — Илья и Алла, улыбаются, и смерть отца не может омрачить телесного, летучего счастья. Ставишь в укор, а вдруг бог накажет. Но счастья не превозмочь. Ходят на танцы. Встречаешь в лесу у базы Алика Тульского. Лето уже — собираются на сплав по реке. В походной одежде — великан, больше, чем в городском, красная ковбойка и красная тень на лице.

И потом понимаешь — нет, не по фотографии определяешь, а вспоминаешь — что-то было не так, и потом сколько раз эта мысль повторялась: видел в последний раз выступающим за пределы покроя телесного, и печать на лице. И кажется, будто тогда было видно, что будет. Плыли, прошли все страшные пороги уже — один был на плоту, бухтовал, и словно кто-то позвал, оглянулся. И утянуло в водоворот, цеплялся за древко плота, но руки ослабил, не смог больше держать, рассказывали.

Не хотели останавливаться грузовики, везти домой трое суток, в земляном, водяном, каменном, бессон-

ном бреду. Выбежали на дорогу с ножами, жгли покрышки. Везут. Привезли.

Тетя Нина в огороде, потом брошенном, склоняется над грядкой — поднимает голову — приближаются четыре фигуры огромные, показалось. Все вмиг поняла.

А Розалия говорит — ему было предупреждение. И я это видела. Не веришь, презрительно прыскаешь, но мысль западает и возобновляется в чтении антисемитских брошюр.

Появились в доме иконы. На кладбище березки и камень с реки привезли, с речки смерти. Квадрат, куб комнаты будто вырвали. Пусто. Солнышко светит, портреты висят, летнее время. Приезжаем, просматриваем — появилась впервые видеокамера — вот первый день того плаванья — собираются у костра, говорят вечером, вот гремит река — и бесконечный берег. Второй день. Третий. Последний. Утро шестого дня. Потом возвращаемся, просматриваем свадьбу, за год до того. И отец живой глядит, сквозь очки, — последние прежние люди, дальше другое пойдет. Как хлестанула рыбой по лицу на промысле — студенческий отряд. Как письма из армии присылал. Все это пересказываем, просматриваем. Седая как лунь. За неделю произошла перемена.

А помнишь, веселые, телескоп у них, комната поменьше, играем под шкафом, с ним и с братом. Они боль-

шие, хорошо дружить с ними, интересно, на Пермитина еще и на заводских дачах — тонкостенные домики, лес, трава пахнет, хвоя лежит, мокро пахнут дачные уличные столы, осунувшиеся, истончившиеся, изострившиеся. Под померкшим солнышком, сухонькая жизнь, дачный отдых, светлые платья, Элизиум земной. Речка — на речку. На опушку — светлая опушка, околица взгляда. Теперь всегда автобус проезжает эту остановку, остановка по требованию.

Украл из бывшей пионерской комнаты фотографии отличницы И. Цветные, с доски почета. Посмеялись. Сказали: в бюстгальтере. Провожал ее домой по долгой дороге, потом после часто маршрут повторял, чтоб насладиться вполне. А там — мимо института, находившегося над котлованом, в котором купались часто, когда его заливало дождем. А один утонул. Дальше «дебильная» школа, через двор и кирпичный красный дом. И квартира: рыжая, полная мать, кудрявый седой отец. Комната. Книжный высокий шкаф — синие тома. Лазила на полку. Увидел на ноге волос, не понравился волос.

А так читал, «я понесу свой белый саван, как мусульманин в Мекке». Просто врезалось в память. Находил и другие прочувствованные цитаты. «Как пережить и как оплакать мне бесценных дней бесценную потерю?». Стал заучивать наизусть бесконечные куски

стихов. И монотонно декламировал их в классе — так, что все спать ложились, играть «в точки» и могли посвятить время себе. А, опять — это на пол-урока. Устремлял свои мысли к своей Дульсинее. И как устремлял!

Держал в руках словно воздушный змей, так шел, и мысленно летел, и упирался в свою бестолочь и оконечность. Особенно на Пасху ходилось — по снежку — выпадал снежок мелкий, бусинами. И розовые лучи были солнышка. А ты веришь в Христа? Как можно не верить в Христа, думал. И запела: «Риглисперминт гам, гам, гам, гам». Все это мало вязалось с тем, во что уверился, как и волос на ноге.

А с чего началось — репетировали сцену «Архимед в ванне произносит Эврику». Ванной была лавка — твердая, нужно было вскакивать, ударяясь копчиком. Тогой была простыня. Из-под нее торчала футболка с черной траурной полосой на плече. Поглядел в сторону и почему-то покраснел, так что смешался с красноватым светом в актовом зале и бахромой кресел. То же и в красной своей комнате повторялось — в футляре красноще-ком и румяном — коридоре коротком, куда топали мысли и упирались в кладовку.

Так и сопровождало, разрывая завесу небес, вызванное в памяти личико. Когда же забывался, то выходил из околоточной оконечности и сливался с окружа-

ющим фоном, с природой. Послали бегать на районных соревнованиях. Отставал, и не мог ускориться, и задохнулся, и задышал, сравнялся с кустом, с воздухом.

Было и после — когда выступал с уроком перед детьми, говорил и слушал их голоса, глядел в лица живые, несмотря на подлость и шкоды, хором пели ночами в голове, когда засыпал. Не хотелось идти туда, ноги обратно несли с полдороги. А была и какая-то прочная радость, и хотелось снова видеть детей, но от подвоха ноги обратно просились. И вот выходил на улицу после данных уроков — и полностью из себя, — становился тем, что видел вокруг — деревьями, птичками, трамвайной линией. Как будто закатились птички в зенит и поют, и спать не дают — а тебя — самого — нет. Ты ветка под ветром, и то, что за веткой, — свет, кроны, с природой всей зеленой, с белой горкой, всей подкоркой.

Не так, когда летел со змеем в руках — когда к далекому летел румяному личику — тогда все было внутри, дорога и саночки, все, что видел вокруг, помещалось внутрь в тебя, и небо в овчинку. И тут натыкался на довод — Христа придумали люди. Как так? и начинал думать, вернее, считать — трещинки, и обсчитывался, и начиналась песня про святую рептилию.

Пробовал решать уравнения — алгебре учили хорошо, ничего не было видно, кроме алгебры. Но мыс-

ли сами собой летели, и картины ехали сами. Потому сосредоточивался на значках abc, и они бежали по кругу и никак не переходили на вторую ступень. Вот побежали циферки — ага, сейчас, но снова туда же, abc, а над ними, в трубе головы, летит Всадник с копьем и мечом, и бьет змея, и все никак не побьет.

Первый образ, в котором уверился. Но тут поглядела подслеповатая, холодная, кудрявая, совсем другая, замлевшая в девстве, томная, путешествие в Опочку, О. — поглядела с конца коридора. Так смотрят, когда бывает страсть, вновь уверил себя — и начали вдвоем уже прыгать — с одной на другую. Той — верный, а эта искушение настоящее. Та — Христос, а эта — наверное, Сатана. И теперь уж вдвоем над циферками, там же, где и штатив, и химичка, там же, где со змием всадник, да еще Гитлер и Леннон, пацифик и свастика. Две мысли в одной голове. Two dead ends, и надо выбирать, пока восходит красное солнце в тебе, а, вернее, закатывается — и идешь в красных тенях и черных сумерках, через мост, к пляжу — октябрь, вечер последнего теплого дня. И проходишь через мост трехкилометровый, и идешь по маршруту пасхальному к дому ее.

И умучившись этими суккубками, взялся письмо писать — где все это излагаешь на 13 страницах, в линейку — белая тетрадь, сочинение — «бред Андрея

Болконского». И показываешь той, второй. А для нее это — гром среди ясного неба. И за бредом не успевая, не знает, что ответить. А ответ — вопрос жизни и смерти. И отвечает, наконец, уязвляет в самое сердце и жмет плечами. И отправляется в путешествие далекое в Подмосковье — куда едут лучшие медики, математики, конкурсанты. И твой новый друг, написавший поэму об Адаме и Еве, — красивый смуглый брюнет, высокий, как Маяковский, который один во всей школе, быть может, умеет мыслить, не так, как ты — картинами и словами отдельно, а что второй Декарт, настоящими мыслями, и крючковатым почерком синими чернилами эти мысли выводит в тетрадке. И получается — холодна эта О., благодаря поездным приключениям друга. Но — появляется друг. Но его принимают в компашку — в которую путь тебе был заказан. А друга коронуют, вносят на руках на двор в белой одежде, белой, как саван, который ты в Мекке дальше продолжаешь нести. Но — друг, который с тобой говорит, ничего от тебя не скрывает и которому есть дело до исповеди твоей, до змея и всадника, штатива с «закладом», и только «святую рептилию» ты ему не можешь открыть.

***

Началось христианство на полке. Там, где прежде стояла новая офтальмология с упражнениями для глаз исцеля-

ющими, оказалась такая же книжечка — из тонкой бумаги, такой тонкой не видал прежде, и в фиолетовой обложке, коленкоровой? или из искусственной кожи. Начал читать — не понятно ни слова, но каждое слово — словно свыше приказ. И читаешь на десять раз, все равно не понятно. Как же я могу не понимать, а уже твержу в голове? Грозные слова, особенно про меч, выходящий из уст, не мир, но меч, и про оставь домашних твоих. А когда оставил домашних, стало ясней — помогли и картинки из комиксов, мультяшный образ создав, но только понятно, назад дороги не будет. Отвергнуть надо себя. Но поставил на место пока — на полочку — где ларчик — гроб хрустальный, с подушечкой, а в нем украшения бабушкины, часы старинные, жемчужины, перстенек. Верить надо каждому слову из книжечки, да и прежде ведь верил, но вот в правдивости усомнился книжек тех, что до этого открывал.

НАЧАЛ КУРИТЬ

...

СТАЛИ ЛЕЧИТЬ

II. Солнечный и Гибралтарушка

Расцветшая кожурка помоев, прослезившихся даже тонких мешков — не тем мужиковатым и жутковатым настоем эмалированного ведра — была подкожной жизнью сгнивших чувственных людей. И эта искусная чувственность, любопытство поползновений, подметанная заплатка на плеши колен с приплюснутой и заискивающей улыбкой скрывали грозовое нытье, бередень нянек, циклопедию промывания допросин простенков и измордованных кум. На жмуди разбивалась похотливая роскошь, страница рассвета, и за ними гналась с тетрадной мухобойкой хвостатых жгутиков, картофанов в мундирах и жмурок. Калач посыпной входил в соседний подъезд, а желе вскрикивало от ужаса. От съеденного не было сытного тепла, от припека не было попрека, что она умерла. Голубика цвела, повилика вилась, а кочерыжка позади всего плелась.

Нет ничего лучше сонливого утра с гулкими головой солнца и подошвами земли, когда миражатся дымчатые потягушки сна и тусклые, как никотиновая паутинка, мысли. Лучше этого утра только утро, когда просыпаешься чумной от лежания на неудобных детских стульях импровизированной кровати или на неловком верстаке каптерки. А лучше этого утра только утро,

обремененное тяжелой головой легкой, улетающей, как облако ночи, сладкой, как нектар. Лучше темноты бдения нет ничего, разве это солнце, ярко бьющее в окно. А лучше этого утра только августовский прохладный день, проведенный за чтением приключений, и прогулка до почты, которая приносит книгу, где приключения эти не только уже распеты на все лады, но и обещают сумеречное забывание около пятого часу.

Почему-то одна деталь, как блесток блесны, как рыбонька замирает в натужных тупиках воспоминания: жарит сандалии, гудронные отпечатки таких детских утех, десять часов залегающих на верхних полках шкафов без малейшей пылинки, по которым вечное солнце смотришь, и впрямь ударяет в окно — в окно витрины утреннего магазина с политым асфальтом. Почему-то она деталь только остается, как кусочек мыла, а вокруг большие бензиновых разводов пузыри. Лиловые, пунцовые, как в прочитанной книге с забытым автором. Когда же читаешь эту книгу, густо измазанную чернилами ночи бутербродной, с картинками про Кубулу и Кубу-Кубикулу, — то сказка — аспириновая, чувственная, небывалая даже расступается веселого леса, итянетсядосамогоГибралтара,гдесолнышкоуходитвморе, булькая таблеткой в подземное царство, из которого есть обратная, короткая дорога, одно мгновение возврата, хотя

туда клубочку катиться далеко-далеко, пугаться страшно, до обморóка.

Вот так от этого возрадовавшись возврата или взрыва, в разрезанных красненьких глазах, стучатся в улицах ставни и тумаки, когда бежишь в крап аллей и знакомых беседок, арацп бакалей и убийца соседок, и некогда затылок почесать и прикинуться олухом царя небесного, угорелым актером погорелого театра, как звали чьего-то еще дедушку, вот тогда дотумкаешь, бумкая головой по каждой ступеньке подвала, вися на рукавах-кушаках школьного пиджака или теплой, как молоко, белены пижамы. Но возврат будет, и будет прямой, короткий, как выстрел в стекло, прямой и бесповоротный, куда бы ты ни забрел, гибралтарушка. Будет возврат со стороны гибели, с далекой той стороны.

Пылающей тропой туда, где нет возврата.

Беседа летела, до уморительных маленьких рожиц, в двух лицах: Февраль и Январь, беседовали чинно, когда мама и тетя являли античность, трагедиянками масок, в которых ожить не успеет и стабильное, слитное сочетание: когда нас не будет. А пока мы есть и этот разговор протягивается как перехлест захлебывающей волны, как журавлиный косяк, как мармеладный босяк, как

вкусный обжора, и как памятный синяк, и как беспамятный в сенях. Разговор с выпученными глазами, которыми угрожающе посверкивали, все меркнет в подслеповатости надкрыльев дрозофил. И отламывая гипс, говорили они, рассудочно протягивая все проеханные станции, до боли в глазах, где трагически жили бабочки больших гор, ручьи с мертвой водой, в которой статуя оставляла одну обмытую ногу. Где за некритичной жалобой в белках негритянки Соджорнал бились писки летучей мыши, обмывались ноги покойниц, бессонницами колотились жмурики раздоров, сожженные молниями пожаров домá, ранняя смерть, больничный уход, и наворачивающиеся слезы каждый час, и сопровождение душ в метемпсихоз и в психоз математики, и нахлобученные подушки обстановки не попроведанной задачи, от которой не помнилось начала. Антигона могла бы позавидовать терпению и живучести впечатлений в исполнении этой Жилички, у которой на окончании бдения бились чертушки самоубийства, но она отряхивала их, засыпая в прохладных комнатах полосатого или клетчатого домкá.

Ничто не передает чувства Ореста лучше, чем старинные фотографии. В их продолженных еще живых взглядах, да и в тех, что физиогномика уже причислит к лучшему свету, видно все, что живет в тот момент,

и эхолотская перспектива развернутых дней. Вот мама девочкой, и в этом нет никакой рассказанной истории, ни довоенной, ни послевоенной, в этом есть только моя любовь к ней и, кажется, встречный ответ. Вот мама в шляпе, экстаз лучистых глаз, состоящий в подлинности почти апокрифической, и шляпа, дающая смешной и важный поступок. Но это падающая в обморок завеса прошлого, персидского характера занавесок, ничто по сравнению с постоянным присутствием и сном наяву в телевизоре, постоянным существованием, которое власть и семена зрения, ослепление и аффект страдания. Не то чтобы я так уж собирался предать культуре театра то, что дает мне мамино время, но нет ничего явленней этого театра, этих масок, этих паролей, этих судилищ, что больше мне бы напомнило кающегося Сократа или царя-жреца. Мои Микены, мой Кносс лежит за тонкой белой дверью, подобной шторе, которая запускает по потолку чайную куклу своих путешествий.

Если вы разглядите ее в череде прыгающих в автобус старушек, то увидите тень утра, и белых комбинаций, и черных чулок, как она пробегает, не успев придумать обман, и то, что есть без обмана, — самостоятельное стремление и материнскую скрытность, которая так легко распадется на клавишах печати. Это будет вам открытый урок, который может быть раздавлен колесом трол-

лейбуса или зажат, как плюсна, его дверьми, — то время, пока не было мамы, покажется вам, поспешающим на работу, загулом лимба, отгулом бинта, спеленавшего вас и увещевавшего крики.

Когда со своими смарагдовыми и смрадными глазами заходит соседка-ухажерка, собирающаяся на очередные скандальные похороны, на которых она сможет только выть, вся в подтеках помойной кожуры, избитая фингалами глазея, я вспоминаю тех красавиц спящих, тех принцесс на горошине, которые используют другие тени, порошки и пудры. И тут же вспоминается, как халдеянское небо, с бирюзовой, карминной, оранжевой, как глаз голубя расцветка старых поверий, как катается, встречая ветер, солнце и луну, крестьянский сын из татарской сказки, как обманывает их, забирая с собой и огненного коня, и невесту, и жизнь вечную в пенной чаше. И точно, оранжевые мартовские огони уже шпарят в окна соседнего дома, а сказка звучит в вещании радиоточки. Охапками насыпается вечерняя листва, и кто-то из нас — мама или я — спит у ствола, а кто-то лезет в дупло большого дерева. Подкарауливая вечер, начинаю в темноте читать свои мысли на белом экране, все лучше, чем горячими глазами дремать, а верней, угрызаться, терзаться прошлым, или новыми обидами, или невыполненными — делами, незакрытой форточкой,

в которую пролезают воры, невыключенной конфоркой вечного огня, незакрытой дверью, непредупреждением об опасности. Так начинают распускаться и поспевать тревоги, самое новое из чувств, когда омолаживаешься, обмываешься сам изнутри, — и в тебе живет пастораль целого полугодия, а стенки дней тают, перегородочки растлеваются, голоса вчера и позавчера распеваются, и это пострашнее скрипа ракиты, это настоящая пастораль — когда на том свете состриженные и потерянные вещи, неподшитые в кисет ноготки не можешь найти.

Без сопровождения, без второго, с которым, в разные стороны сидя, встречаем рассвет, как Кузяр и Енойка, без совпадения где-то еще, на какой-то полянке или платформе — мысленного совпадения — окочуриться можно и нет спокойствия — когда не раздается знакомый шум от мытья посуды, щебета по телефонной линии, да и просто уверенности, что кто-то там есть и он сохранится навечно там. Всегда уважает этот страх человек и высшей маминой оценки хочет, строгой, с узелком губ, долго обдумывала когда. Такой халатик цветной, как райские деревья, как хвост жар-птицы. И тем более пугают и удивляют тени и светы, окружающие сон, мелькание картинок телевизора — как будто транслируются мысли, — прогулка по саду, поход на горку, плеск весла речки, то, на что глядит, спит наяву, не понимая уже

связи между телевизионными подушками, на которых очередная история цыганочки, и по ним она учится. Входишь и прислушиваешься к дыханию, и глядишь, колышатся ли плечи, и потом тихо гасишь телик, и улетает птица сна, как тень поправляет подушку тебе.

А те, кто ходят в инфузориевых туфельках по коврам нашей крыши, беспечно могут разгуливать, вытаптывая нам половики ковров-самолетов, и вот эти их оттопы и оттопыренные ужимки мы потом рисуем вышивкой на тканых платочках, которые, как огонь взмахов рук, провожают и прощаются с нами. Это все то, что нам снится, о чем мечтательно голубит и холит.

И пока спит женщина-труп, настукиваю по клавишам незамеченную историю жизни. Или лампа раскрывает жухлую ниву умирания, наэлектризованную жизнью предсмертной. Так и читаешь книжки, в них столбы света, колодцы подъездов, или вот эти английские пластинки. Я, Тони Дакота, храбрый астронавт из Миннесоты. Потом всю рухлядь и картинку «Рукодельница», которая глядит со стены: женщины старых времен протапливают комнату, где утро заходит. И эти комнаты — в них и живешь. Вот мама уехала, бросив меня, и называю ее предательницей, она ведь всегда должна быть со мной. И вот подруга Таисия и друг ее Люпин, или Лучинко, — и они затаскивают пианино черное, в мож-

жевеловом молодом раздоре. И каждый из них угловато вечен, хотя увяли все цветочки, которые ставили к их карточкам. А с этих карточек они глядят на нас — это для них как один глаз для трех сестер, и нашу жизнь они не смогут прочитать, потому что глаз выколи, уже смеркаются страницы, но все равно силишься, вглядываешься. И даже если не дочитаешь, бабушка заговорит и расскажет, что потом будет. И тонюсенький комарик, живущий один, будет нависать и прокусывать сонные щеки.

Или как мы вечеряем в поезде, как шепчемся, и плетется, наступая на обшлага, старая жизнь, которая была когда-то кудрявая и очарованная самой местностью, где теперь протекает, — место утра, пробуждения ежесекундного, бодрого. И панегирик о нем в графине, на дне которого петушок, и это тот же петушок-леденец, и гимнаст на дощечках. И ствол этой жизни, на которой мы развешиваем тонкие собачьи языки — лоскутики, ствол этой жизни проходит там, где батарею держишь и плиту.

Так вот такими пробуждениями, пережевывающим жовом твои жалобы, когда литое солнце и ты сам олово, — пробуждаешься с петухом содроганий каждые двадцать минут. И обжигаешься Жигой от становящегося мира, и солнышко каждые пять минут встает, пугающее, и в новой комнате, то потом это настороже откатывает обратно тонкую снежную крупу-посыпушку

пасхальную — и тени твоих друзей, и сам как тень — или синий февральский овраг, или как тащишь новый двуглавый тяжелый монитор — по которому — сам как помеха летишь, — и это усилие рождения в сжатии сердца, в мышце его — но она — как тряпочка ветшает — и выцветает твоя воля, и тогда уже начинают пугать сумерки догов-годов — осень, раскрывшая инкрустированную шкатулочку, — желтый свет, валкие ветви, и чаща оказывается так близко, только ляжешь на бочок.

И потом косматое руковолосое солнце, ночная светящаяся чаща поворачивают на лето, но назад, все мгновенные памятки как себя помнишь, и они бегут, и вот уже нагружен бессонным коробом — и истончается мир, лишь закроешь глаза, мнет скатерку, и вот тогда начинаешь совершать бессмысленные поступки, которые переска(ж)иваешь, точно в деталях, но так режут слух они, эти электродные детали, и то, что рот не закрывается у нее — ты пробегаешь, не чуя эту границу между тем, что внутри у тебя, и тем, что кажется снаружи, так пересекаешь ты, не считаясь, чужие тайны под страхом смертной казни и являешь в своем рассказе то, что видеть люди не в силах, да и не должны. Бдение чумовоза зови это, и оно позовет тебя.

Ласковая пластинка сна с шуршанием уползает под шкаф, но доносится новый щебет, кричащий о пред-

стоящей разрухе, воинственный голос, мама будит, и до тех пор, пока не проснешься. А ты откладываешь какие-то две минуты или пять — ведь причин к пробуждению вроде нет, а шапкозакидательские обязательства давно почили, — именно тогда ты ощущаешь лучше всего свою древесную природу, музыкальные длительности понимаешь, но обрываешься с ветки вниз и наверх, как, корчась, туда заползал.

Гремучая змея под дудочкой твоей, горгона в твоем щите еще бы и пела, разрывая батюшки-светы на четыре стороны. В солончаках, на приталенном сукне болот ты отдохнешь, в обонянии ловя и пчелиный рой, и вертолетики кленов, и онучи запахов, избывающих выгребные ямы. Но вот — солнечный день, и Жиличка заплывает по самые зеленые и коричневые ветки дальних стрекозиных светящихся бережков, как на коврижке потом поднесенной и съеденной со слезами, как она плавала, шелестя элефантами груди, и как шли потом мокрой верстовой тенью, и как порхали по запыленной листве, изумрудово разбивающейся под ударами молота дня, молота, что разбивает дни, вытрескивая щели сбоченных часов, из которых сочится уже сумероковая, чаевитая, винодельческая и отдельная твоя жутота, когда осознаешь себя пропитанным насквозь и вместе с тем насыпанным бровками на облачке кисейном, исплакан-

ным и воззванным вожатаем, что был за тенью, в Аиде, и вот солнечными часами возвестил новый час, пробил колоколом далеким, и птицей высокой, кондыбающей на плаву, завис, и в брюхе барабана пробил, полдень в головах уложил.

Пластиночка «Жиллета» прикарманенная обещает самодовлеющее бритье с риском порезаться. Лучше пилюли успокаивающей не выдумать даже для крокодила, чумодана, который расплакался бы крокодильскими, нильскими, чумазыми слезами над пластиночкой. Винил бы только себя в том, что зашитая в записке кудреватая митрейка ноготков, что сорвал, слезок кукушкиных, что куковал, не запела бы. Над животом синекастым круглыми разводами ламп, как вождя оплакивали тутовником трамвайных гудков, так вот и в самом массовом пузике звучали бы эти оргиастические, как гроза, как рыдания, слова. В самом массовом пузике раздалось бы роптание новорожденного крикуна: с любовью к малолетним, мимолетным успокаивающим, как королевский спиритический сеансик. И что было бы в этом содрогании, рвущем горло струнко, в этом были бы отголоски содроганий, но отодвинутые на лезвие рассвета и утра, отступающего вспять, а был бы заштрихованный половичок, с персианками, рассказывающими, рассказывающими квадратиками, и даже сильней, так что облегчения

не наступало, а только анальгиновый, затушеванный, завшивленный фокус-покус, осоки покос, как пляска с комариком — только песочные часы, взбадывающие вам зенки в самый полдень, полдень без упокоя, где Осторожность выходит гулять на лужок, бесконечно повторяя квадратуру свою, в которой радость — толпы и ваша, и за которой выстрелы выстрелы выстрелы выстрелы, чтобы только чудесную головную боль прогнать, хмель убийцы. И всех убийц, которые торжествуют в этих выстрелах у Дакоты, выстрелах у Дакоты — торжества всех убийц этой головной квадратиками расшитой боли, болек и лелек не убегут из этих двух мертвых глаз. Выстрелами Дакоты, голосом любимой собачки, голосом застреленного Енота, голосом умершей матери, погруженной в Тихий океан, оттуда, выстрелами Дакоты, покойся без меня, Великий Океан!

Зонтичный паутиновый протекает. Так спал одноклассник, и снилось ему, что стоит под зонтом уже по колено в воде и клюет носом, а в это время потолок раскрылся, и из люстры потекли потоки воды прямо в кровать, в ставшую мокрой постель. Так и мы пришли в квартиру, а там внучатая тетя бессмысленная сидит, а по стенам сбегает вода. А когда не знала, как выключить плиту, и спала на столе, у раскаленной лежа, так вот это шпарило током сильнее, чем когда попила чаю

с покойными братьями, а дверь забыла закрыть за ними, и высадила дверь во сне. Проснулась, стоит над павшей дверью, предшествует, предваряет, воспряв, на дальнюю дорожку. И действительно, шли с внучатой тетею по болотцу, и ругались, вот ругаю и понимаю, что она уже не в себе, убегаю, кричу, ругаюсь и вдруг понимаю. И приходим по белой пыли и по сумеркам уже в дачи, и там вечерим. Так вот туда она повела бы меня, и однажды водила уже, но не то это все.

Зиккурат крыльца раскрыли, обнажили красные кирпичи в большом грозовом здании, где черной бахромой зонтов спускался в начале теплого июля за черными гвоздиками, высокими, четыре штуки, красивые, подносил цветы к тумбочке-алтарю. И в жмеринках платьев вдова веселым голосом мудрой старушки, так, которую видел с мужем еще под косым слепым дождем, так она проходит как ни в чем не бывало теперь, делая допущения в мой адрес, но про себя. Опять тревожу его память. Но родители доглядывают детей, и мы тут эту вудуистику не будем разводить, и так все в разводах уже, занавесимся на ночь.

Вселяют прохладные дни в наши помещения, сидишь в тени и глядишь на соседний солнечный квадрат, а в нем и трамвайные перегуды, и погоды октябрьски желтые, и столбы пылевые, где был человек, просеки сча-

стья, неги, так в этот квадрат, как в желтое окно, глядишь, и там силуэты твоих — за бранью и руганью, за кипятком в стаканах, за мирным падением в синодальность, китаистику, кутай, кутай в старом красном куте.

Так вот набухала тогда гроза, и тусклую красную лампу зажег, и читал пылевики страниц, как кто-то бегал впотьмах, и любовался красотой рож, отвратительными которые утром ему казались, и впивался в себя самого, как мужской поцелуй. И вот полился дождь, и лампа качалась, и забывался в тот миг и в другие потемки, в других комнатах погружался, когда летом темнеют деревья, гроза. И ткнувшись кутенком в ту глубину непроглядную, когда подмывало рыдать тогда, а сейчас, напротив, хотелось сладко посапывать, но не до глумления над этим, не до кривляния, а так, по-хозяйски распорядиться грозой, из которой выплыло светлое небо, прояснившись. Так вот и ты проясняй свои прописи, на которых выдавлены твои — тюфяка, фетюка, картофана в мундире, как темными вечерами, чтобы стали те чернила гравировкой, которой только поглядывать, да смаргивать, да вздыхать, вот в каком побывал подвале, под которым все ходуном, вот что вынул из шкафа, вот что ховал в мешке, вот тот горячий горючий камень, а вокруг земля ходуном, и ухабами этими ушибленный навсегда, вот так с утра вспоминается это, только раскроешь глаза,

Семирамида, словно проел глазами бумагу, словно хобот раскрыл цветок, и все это распустилось, жутиками расцвело и мгновенно улетело, как не было, в несознанном пробуждении забывать прикосновением ласковым к тому, что Солнечный приголубил тебя, и вот разнежился ты уже, и снова утро, и окна у тебя на восток.

Так, бывает, напугается мать, слушая радийные песенки, отвлекшись на себя саму за посуды мытьем, и так в этом соприкосновении словно бы открывается книга, и за челкой облаков сдутых видишь, что ты одуванчик, скафандр, кентавр, и царь Минос учтет тебя, а боженька только от проказливого отмажет, и заголубит вновь Солнечный, как двое не могут разойтись, мотая коняшками голову влево-вправо, и тогда вот раскрывается книга, у которой только есть только прямо, а нет право и лево, и видишь и себя, и маму с головы до ног, в омуте световом и упавшими — это Солнечный посмотрел вам в глаза.

И пробуждается под лампой, освещающей полнеба, бредущей и спускающей на шторах вновь сказаний и дальних путешествий комнату на подглазьях ночи, которая оживает в томленом свете, в ярком свете комнаты, такими, как видел ребенком, и нашептывает на ночь сказку, которая есть только скатерть той страны, что видно из-под стола, куда уползает клубочком котишка.

А за тем столом какие люди, и что за речи ведут, и что прихлебывают из чашек золотых, только с замиранием сердца подслушивает дитя, и проведать такое может, что потом расскажет только как взволнованно, исповедуясь взахлеб, и трясясь этим, и забываясь, проговорившись.

Снилось солнечное утро в лучистом саду. Под утро приснилось, и легкие неги безветренно мигали глазами и смехом, как клонятся вишневые ветки, и над ними птичник. Меня не будили, позвонили сестре, какой ставить памятник. Потом пришли, и изобразила Жиличка мертвую куклу, закатив глаза темные и тупые, и очнулся только когда отчетливо произнес баби-Манино имя и отчество, какое надо написать на новом памятнике. Напустило на небо тучки прохладные, сени и купы поразвесило. И пошли в зоосад, где орангутанги плакали и утешали друг друга, и тень была в черных клетках, и в кустах, и в пруду, где от ивовой воды болели глаза. Гепарду там выстроили избу, и он в эти хоромы заскочил и там сидел, только не жег свечей, а варан был не такой, как из Комода. Маски вождей надевали и первосвященников Мандрилы, пони были просто грустны, кабанчики напомнили жабров, а красный ибис был маленький. Колокол персидской юбки она несла, и думалось сообща, беседа была длинная и прервалась лишь когда довольно близко отдернул лицо, вспомнив словно что-то. Подго-

товил рюмку серебряную почерневшую, чтобы аптекарем друг стал туда яды дозировать. Но рюмка оказалась памятью семейной, и с ней нельзя оказалось расстаться и яды дозировать, чтобы друг, как врач, врач, как друг тебе говорю, чтобы он для нас ни сделал, хотя уж и так сделал очень много, верней, что никогда не расплатимся. Сжевывая фаншетту, запивая белой портвейной, не соображал ни вкуса, как отравленными ломтями питался. И Элизий елисейский в сумраке потонул, да ночка подошла, а такой райский сад утром насаждался, да заспал его, зael, запил, не приголубил Солнечный, и вот ночку коротаю, красный ибис был грустный, нет, красный ибис был маленький.

Шафранной кожей выходила и принесла яблочко, сарафаном накрыла с головой наступившего августа, словно голову попирая ногой. Прогулка длилась, пока тревога не обломилась и не подняла лес за собой. Чащи веток, елей кисейной барышни, и высосанный зрак хоботом пчелиным — хмурилась-жмурилась, а до этого снилась утрами под сладость пробуждения — морфема такая и фенечка, да денёчка красноватыми пузырями сафьяна в сумраке прихожей зажгла электричество, и отказали, закоротили косые дожди. И улетела далеко, не упала только, в самолете выскочкой колосья пошевелила. А потом гроза молнии, и сгоревшие вмиг под деревом, потом

в дневном свете уносили, показали пятки только их — белым-белы. А так парочку сожгла гроза.

Грозку заспал, и опять под утро уже с другим лицом белым, как простыня, сладко захолонула и из всех прорубей замиловала, а сама была как раскатанное тесто, хлебное, с кругами, осыпалась мукой и сжевала мертвый и сладкий уд, как будто бы заплатившийся изумруд, дитенком, а сама завтракала, и в улицах напротив бродил слезогонный, но виноградный слезоточивый, и чикой-брикой сказала так и надо, а как исчезла, пробуждение наступило. И маячили опять утренние предгрозья, и населили тенями заполированных глаз ощущение наутек. В сумраке в первой открытой газете сообщили о смерти Марии, и глумящихся над ней, и протягивали ноги, и вытягивали время суточным пайком, как в вагоне, до пирожков, и когда вышло солнце, открылось, что в этом квадрате солнечном, где спят пылинки, и что вот этот столб водяной-кровяной на перегоне, умерла Мария, и погребение сегодня. Ждать поезда вот так утреннего в наступлении лета, а вот так вагончик и канул под землю, не доехал до своей станции ты, и теплые руки, и теплые груди, вдруг забито горением плачей, а через тебя тянется эта степь поездная, так второй раз за год явилась второгодница ночью, ящеркой на старом подоконнике, и тогда расплылись тенью августа да под юбкой его, хво-

статого, двухвостка затаилась, да как электрическая двухвостка всегда ты была, померанец, персиковый теплый липтон, лакмус и зорька нефтяная.

Вечерний летний поезд, заглянул в вагонец, провожая Жиличку, а до этого и после спал-спал, засыпался, и опять началось роение дня, нелепо-далеко, и мамина тень брела с ней, как у цыганки с тамбурином, и пела она песенки, сама не зная о чем, и выше головы выросла трава, и потом одалживала свой шарфик возле дома соседке, и да опять этот август, когда провожать на поезда, когда опять остались одни, и вновь вспоминать бабу Маню, ехать в автобусе, с темными шторами, как на катафалке, медленно-медленно, и город как вечный огонь, живой, солнечный, а ты возвращаешься и не можешь сказать, какой год на дворе.

Жиличка на поезде в нежном солнышке, и сам понимал, что рай где-то внутри, от сладкого вина или еще от чего, и рай будет таким, что то, что ты воображаешь вокруг тебя, уже неподвластно тебе расцветает, волнами и лучше, чем во сне многоочитом, и в солнечном грустняке напротив, в автобусе мама, мы едем вдвоем, и солнце поет в тебе, а так воздушные поцелуи и сладки плоды, и кущи в цвету под возвышенным сердцем, и лучше того сонного и искусственного рая тот рай, что рассеивает дней тревожную пастораль, да живых рай, волшебств и яств, семидольных блаженств, пустолаек и бережных зим.

Лучше Евангелия, с чудесным выпрыгиванием из тюрьмы, с размыканием пут, с бури крушениями, плутовскими и шпионскими подвигами, хотя тот рай особо под циклодолом открыться может, когда белокурую Лорелею хочешь, и объедаешься сладостными хлебцами эйфорий, не рай то, скажете, а кайф, а рай — это когда кружатся силуэты в садах, и с каждым кивком головы, с каждым расхристанным шагом открываются сначала тенями, а затем силуэтами, а затем живыми фигурами, свободы неги и ласточки, словно все прочитали Кубулу-то, и уже вот он воплотился, хотя плоти-то и нет, истлела она, как конь Блед топчет ее, белесый то есть, из незнамо куда, а ты где прячешься, книжка или, вернее, чтение ее, — вот где рай, только настоящую книгу уже не прочесть тебе, все одни выдумки, а басенного меда не отведать. Вот уже бьется маленькая матушка-смертушка, грозно маша кулачками, и вещает закон в своем помутневшем хрусталике, вот не лотосы, молодильные яблоки будем есть, да и был уже рай, а теперь только кайф, пусть даже больше кайфа, а оглянешься даже неделю назад из-под вымени бледокравы — и то рай был уже, что прошло, стало мило, милует, и то, что минует, — то смерть, а то, что мило, то уже тебя обмыло, речки смерти в денек записать.

Любрик, Людик и Пудик — это твои котяточки были, змейки полосатые заползали в брюшину, которая

отцветала уже, и, щебет от шепота не отличая, ручьями текли твои глаза, словно о смертный ствол ты прикасалась чубом к нему, задувая наверх одуванчики-волосы, так как сметана была челка, и красных быстрых теней на щеки, и скороговорка прыжков, лягушечка сбросила кожу, а загрызла совсем лилеей без запаха, без волглой мерзлотной телес перепоя. Так заглядывался в ожидании и испуганных дудок зрачка, так они таяли, прядали, охапками в переносьях дышали осенне, так ветер в квадрат заносил, и сверхрайское, сверзнутое в долины лилейной лоз, и светы и сапы, и если бы заглянуть дала за спину: что там, как за тем поворотом тропы, туда где нет возврата не склоняла б воли узнать, понять и принять несуществующих, и приветить озерной колдуньи другой садовую челядь.

Время сбрасывать кожу, смеешься даже шипя, кожа дышит, и начинается сбор винограда, а ветер последнее носит тепло с воскресного солнца. В ядовитой майке каталонской ходить уже холодно, все ветшает, шатается корешок книжный, застежками зашнуровывает сапожок. И глазастики, и барвинки сменяют наряды на тафту и травленую бронзу, которой ломать стрекозиные крылья и варенья янтарь. Теплым морем купает тебя плодородия морского ложе и повитый зрелыми давильнями, растоптанный ложный циссус лиан. Уж вот

оно, солнце, прошло Гибралтар, уж скоро бабы Маруси моей бестемьян.

14 августа встретили порознь с мамой, обнаружившей поутру стограммовку Кина. Угрызения как те две мушки, что зигзагят под старой потускневшей лампочкой на наступившем дне, с футбольными коленцами, в новой ядовитой майке, — которые радость приносят, и в честь бабы Марии, как думалось. Но потом тяжелая дрема перегретой башки, и, глядь, сидит за столом соседка, которая голодает, и мама ее подкрепить решила. Вот так и вечеряют днем с этой соседкой, которая строга обычно, скупа и почти не выходит, а теперь еще затопила весь подъезд, родилась в день рождения Пушкина, и мама запрещает мне с ней разговаривать. Вот так вспоминают без меня, а соседке мама соку не дала, сберегала для памяток наших. Но вместо них судилище, требование клятв памятью бабушки. И отдельно живем теперь, вот отрыгивается стограммовка. И расшифровывает мои скрытные часы мама. А сегодня поет и плачет, я хотела тебе рассказать, как мы жили в войну в Казахстане в экспедиции. Сухонькая, и не обиженная даже, а потускневшая, уединилась с собой и заперлась на халатик, которого рукавами то песни лить с неба, то руки вязать. Нет у меня друзей, и ты не пойдешь со мной.

И нашел в подарке ей на день рождения забытую ей тысячу, в конверте, в красивой коробке. Потратить решил на себя, ни в чем себе не отказывать. Табака полные карманы, вино, ленивца бы еще заморского, какого еще.

Поездка на дачном автобусе оборачивается путешествием в тридевятое царство. Начинается разговором со старушкой, которой уступаешь место, а она путает время, потерялась в часах, но вызывается сопровождать, в сером плаще, седая, с черным зонтом. Сопровождает по глинистой и гальчатой дороге, которую обычно проезжаем так долго. Но переобувается в сапоги черные и бредет как будто присядью. Кажется, вот-вот догонит, и мысленно убиваешь колдунью, но подбирает автобус, и в царстве мертвых, комнате памяти, двоевластие сна. Холодно, укрываешься тоненьким покрывалом и глядишь на переселенные маску покойного дяди, гравировку, проигрыватель, гобелен. Все нанесли из разных мест, где когда-то селились. Сон — не сон, ничего не видишь, но сопровождаешь себя в метемпсихоз, но не можешь открыть глаза. Обратно мамино лицо одно солнечно, среди забытых старух, и та колдунья вновь встречает в белом еще платке. Странно, что ничего не случилось, только злейшим стал, ругаешься на мать и вспоминаешь с улыбкой в мрачном аквариуме автобуса прошлые жизни, веселые беседы. Да вот побывал в мертвом царстве, а утром

проснулся как ни в чем не бывало. Хорошо, что мысли не обращаются в явь.

***

Собрались, вечеряли. Красное сицилийское вино отказались пить, поставили зато опивки виски. Полночь встретили, а к утру вновь встретились, как не расставались. Говорили шепотом, не понимали женщину, с сыном за ручку гуляющую, а у него рыжие усики как у шестнадцатилетнего, а уже двадцать пять. Стреляли из сломанного игрушечного пистолета в зеркала. Разъехались, как не расставались.

Через неделю женщина упала мертвая на кухне, три дня упрямо проходив с инфарктом. Сын вызвал «Спас», чтобы вскрыть дверь, запертую изнутри на щеколду.

III. Эпизод на ветрине

Сели, захлопнули дверцы машины. Тот, кто был за рулем, сказал: разбудишь, как доедем. Быстрая дорога выводила по летающим мостам. Фонарные жгуты висели лопоухими синими, промокшими на помойке зайцами, которых привязали ушами за ручку двери. Затекли веки, закапало с потолка теплыми каплями с известью. Он побежал, и все побежали по лестнице вниз, размахивая картофельными мешками, полными бутылок, вещей и дряни. Бледно заходили лица, онемевшие и смуглые. Навстречу летящей капели, по ветру и против солнца спускался новый сосед с зашитой верхней челюстью, стежками по краям усов. На шестом автостопе она уже не могла заговаривать зубы водителю. Побагровевший подбородок красиво расцвел гнилой экземой, когда она отогнула шарф. Шофер повез дальше. Целью было успеть на улетающую платформу, в которой вагон уже был замкнут на немой, как камень во рту статуи, ключ. Платформа отъехала с трещиной. Она встала на колени и зарыдала, потому что с рынка и на рынок через детскую площадку неслась ватага погромщиков с топорами, и отовсюду были слышны выстрелы. Трещина люка оказалась высаженным подвальным окном, она закатилась в него. Там тухло освещение, окно лопнуло вместе

с лампочкой. Цветы высунули языки и стали залеплять канальцы между наглазниками омытого дождями лобового стекла очков. Изогнувшись, она побежала через перестрелку двора гигантскими шагами и добежала до бензоколонки. Пошел град, и ее обтягивающая черная майка и вельветы покрылись слезливыми алмазами. Она подняла мертвое лицо, расцветшее солнечной непробиваемой улыбкой. Слепой дождь прибил к земле голубей. Она вынула пустую челюсть, и кожа ее испарилась на лице, оставив талую дорожку, по которой волоклись ноги. На бензоколонке начался стоп. Бомбометание прекратилось. Она догоняла дневной поезд, который ушел позавчера. У Твери стало понятно, что не догонит, так как отпетый стрелок, за которым она гналась, постоянно менял направление. Умывальник висел в туалете вагона. Она ударилась головой об него, загнулась и вышибла им зеркало, как большой головой своего Фермера Оло. В луже трещин ящерицы забегали в жухлой листве. Пора было просыпаться. Она сидела на домотканом ковре, поливая его кровью, пошедшую носом и горлом, и не могла уже встать, не рассыпавшись на ляжки и локти. Приехали, выходи, сказал пассажир заснувшему на бикающем руле водителю. Машина стояла на Наклонной горе, и толкать ее выше не имело смысла, а движка не хватало. Наступи, чтоб не поссорились, сказал пассажир, уда-

ривший через чужой резиновый сапог по тормозам. Он вынул зажигалку и засунул ее в жопу одному из стоящих в широких штанах в очумелой глядящей толпе. Толпа побежала в левый угол глаза, а из правого угла через жилку вышло пятнышко солнечного зайчика, который утомился, завыл и растаял в заблеванном потолке. Часы, на которые упало солнце, спрятались обратно в рукав. Водитель и пассажир выползли из перевернутой машины и пошли по тропе в лес. Разбитые ступени, скользкий пот в сапогах извещали их о приближении к Сторожевой башне. Забившись на сеновал избы, они заснули, не доходя до вершины первой горы.

Сняв с дверной ручки мокрого зайца, он остановился и запечатал щиток на ключ. Взрывы продолжались, подползали бульдозеры и танки. Он оголил все провода, включил электричество, прислонился к батарее, забаррикадировал холодильником дверь, включил трансляцию как можно громче и побежал к вахтеру. Летела третья свечка свадебным фонариком. Молодые девушки вышли гулять в феерии ракет. Было жарко, потом прохладно. Девушки ходили и молились. Вахтер сказал ему сквозь сон — отползай по водосточной трубе. Началась гроза. Голые купальщицы в ровном море не видели границы волн. Молния ударила в главный громоотвод. Катакомбы под морем просели. Станция обесто-

чилась, обоссалась и затянула в воронку песка ребенка, который объелся земли. Истребляющий луч рассек ее роговицу, они сидели на раскрашенной цветной картинке — она в розовых, глуповатых и милых очках, он в бурой с трещинами от мороза дубленке. Море хлынуло в улицу. Он подобрал спелый гнилой апельсин и завернул его в тряпку ее окровавленного платья. Она жалась к цилиндрической стиральной машине в своем синем секонд-хендовском пальто и отцеловывалась от его. Из уха и бровей пятнистой, как конь в яблоках, собаки повсюду брызгала кровь. Она обвела ровный асфальт, где раньше колотили мячом и пластмассовыми ракетками в стену дома из посеревшего белого кирпича, начертила и обвела фигуру вокруг мертвого тела. Потом все двинулись на цветную клумбу напротив министерства, расхаживали там в шляпах, с красными губами, жмурясь от холода. Из подъезда вышел беззубый панк, широко распахнув кожанку, и понял, про что это все. На фиалковых губах умолкали шепоты. На полочках платяного шкафа спали чистые полосатые детские майки. Курильщик по прозвищу Смокер, стоявший у подъезда целыми сутками, тоже посмотрел на нее. Железный мостик через овражек был ровен и уводил к пруду. В этот момент он разорвал фант жвачки Love is, постучал в пустое осиное гнездо, окунул пьяную морду в таз с вареньем и ушел

на всю ночь, стукая по морозу сапогами, передвигаясь по прямой от одних электронных часов до других. На переезде за ним увязалась собака, две полные бутылки крепкой короны замерзли в карманах. Она сказала: ты не представляешь, после такого я мылась бы в душе целый день. Они проснулись на благоухающей майской клумбе и поползли, смеясь, все грязные домой. Вы мне не поверите и просто не поймете. Он выскочил из дома в белой одежде, китайской кожанке и бросился на газават. Газават должен был начинаться на Центральном рынке — там он должен был узнать, куда двигаться дальше. Подарок ЕС рухнул. Бледный друг перекрыл все краны, стер со лба капающую с лестницы трупную капель и повел его вместо рынка в сад, с расцветшими гиацинтами, посадил на красный унитаз, увитый плющом, и начал петь сладкие песни о маковых опылительницах. Нежные голоса обдолбанно неслись сквозь шатучие двери. Цикады приближались ровными волнами. Героиновый наркоман жаловался и плакал под дверью обосранного, заблеванного подъезда. Дверь притона не открылась — и ломка продолжалась — трубы засвистели свищом, в ванной запахло говном. Он упал в обморок на унитазе после гонки на дамском велотренажере. Новый ремонт согнал в беседку всех летучих мышей, которые на самом деле никакие не мыши, а собаки. Рассвет зашка-

ливал, от лужи трещин и голубых огоньков конфорок, где она сидела, подобрав живот к цветастому подбородку, когда закружился потолок, она встала в высокий рост, обмоталась чадрой и пошла на бензоколонку, откуда начался автостоп. Все стояло на своих местах, был дождливый вечер, могильщики сгребали трехцветное говно с президентской могилы. В это время он харкнул ей в розовые очки и она обтерлась лопухом, не обидевшись. На затопленной мусором реке он плавал на резиновом колесе и пытался причалить к дальнему берегу, где плавали кувшинки. Белый ветер нагнал облако над инюшинскими дачами. Это был последний день отпуска, когда пасмурное небо теплилось от дождя и красного солнца горящих лесов — над характерной веселящей дымкой. Солнце сфотографировали и перепутали с луной. Он ходил от одной детской кофейни к другой и тосковал о матери, к которой приехала скорая. Каждый новый год пневмония, операция на глазах, каждый день отпуска вызовы на работу, трудодни и случайные встречи, когда и повыбрасывали все мобильники, когда жуки-могильщики, и муравьи, и саднящие якутские комары выели все лица, заражая ядовитым соком, прививками против тифа, лихорадки и сифилиса. Роса падала на листья, он проснулся на веранде и сошел без билета на Ине. Весь день спал, спал, спал и спал, и потом ехал с пересадка-

ми до бензоколонки, откуда начался стоп. Все стояло на своих местах: и перевернутые Купалой машины, и подаренный запорожец, и цветы на клумбах, и канистры в колумбарии, и голуби стаями, засравшие ей все глаза и очки. Истребляющий громоотвод обесточил станцию, и тогда он сбросил дубленку, полез на печку и стал храпеть в валенки. Подошвы проела моль, автобус наглотался пыли и остановился на вершине первой горы, где пассажир и водитель побежали на него, но это оказалась конечная остановка.

Снег хлюпал в галошах, в воздухе висел хлороформ, в тумане над мостами проблесками просвечивали бледненькие фигурки. Глаза перевернулись, и то, что казалось близко, стало далеко. Рама отодвинулась, и в окно влезли глазастые рожи, поребрики, и карнизы домов. Он сам влез в свое же окно, только в обратную сторону. В комнате стояло пять телефонов. Новогоднюю ночь с распущенными, как вены, нервами, когда в глазах то тускнели картинки, то бились лампочки, а из носа пошла кровь, он стоял и бил телефоны. Они молчали. Пять телефонов. Он топтал их ногами и бил о стены, но они от этого только гудели, как шмелиные ульи, и оставались на местах. Руки плясали над плечами, он падал на землю, вскакивал и падал снова. Никто не отвечал на той стороне. К тому же он обнаружил, что заперт. Любовник сказал ему, что

не может так жить, отстранился, хотя сам вчера звонил и угрожал убить и ограбить. То есть ограбил, а теперь сказал, что убьет, если ты скажешь кому-то. Сказать было некуда. Телефоны без проводов выстроились в ряд и поехали по простертой одежде, улезая в тумбы. Декор дешевого ремонта, шкафы купе распались на коробки и проступили кирпичи с орнаментом. Две рыбьи косточки окостенело лежали с распущенными молоками. Он поднял гардину, намотал на нее тряпья, высадил дверь и вышел под дождь — деревья плакали над прудом, где валялись газетки с недожеванным дерьмом. Уточки спали в воде, трамвай запылил промзону, и узкая тропка из крошева вдыхалась в легкие под темной канавой Волкова кладбища. Он повел друга домой по треугольному косяку улиц. Луна плясала уже четыре часа, хотя показалось, что прошло пять минут. Пулковский зал омрачился выпуклыми тенями как солнечные очки. Газовая конфорка взорвалась в сквоте и упала в ванну. Купаться стали при свечах, теплый дождь и легкий жар выморачивал воротник, выжимая его набок. Обводный канал по голым кишкам проводов накрывала измена, исчезали облака. Он спал днем, передвигаясь по холодной коже загорелых бледнокожих девушек. Ночью любовник уже летел в самолете сквозь солнце, читая книгу об умирающей чьей-то матери, но живая мать сидела на-

против в кресле и спала с открытыми глазами. Он обманул ее, а она не поверила, отвернулась к иллюминатору. Посадочная полоса провоняла гнилой рыбой и нечистотами. Он встал и вышел гулять под дождь. Наступил новый год, а мешкотные люди все боярились у прилавков с мешками сахара, муки и соли, не спешили расходиться, тянучки прилипли к башмакам, и его отбрасывало назад к телефонной будке. Он запер ее изнутри, и упал с ней набок, и там задохнулся. Подошли водитель и пассажир, утро тащило баржу с бревнами, спуска с конечной остановки не было, там, в павлиньей дымке, пропадали из виду дымки́ газовых вышек, а степь казалась пропастью. Давай найдем другую машину, сказал водитель. В сеновал заползли змеи и встали как щучьи хвосты. Острым прутом он рассек их пополам. Горшки с щучьими хвостами посыпались с балкона, где они стояли в немом страхе, что балкон оборвется. Луна закружилась от оплеухи в правый глаз. Они синхронно выпрыгнули с балкона и продолжали драться, ползая в своей крови, утекающей в открытый канализационный люк. Потом обмякли и затихли. Он вышел под дождь и затворил вены жгутом.

Пробуждение застало в обшлагах, свешивающихся с деревьев во двор Боткинской больницы, с обветренными штанами и тапочками-самоходами — улаживались последние формальности — стиралась помада

и чернила с паспортов. Пошли между корпусами, омываемые и осмеиваемые блеклым солнцем, — ожидая застать живыми, с полоумными оркестрантами и летящим пухом, — дернули коричневую дверь, дернули кориандровую доску, ломая рояль гвоздодером. Глухи были двери, а хвост белесой пыли, по которой были уже по колено, уводил дальше и дальше — пока не оказались у шестигранного корпуса. Но и там никто не ждал, никто не встречал. Один из них зашел в этот куб — чтобы согласовать все детали. Другой остался ждать и двинулся бродить в одиночестве. Скука качалась на лице, как маятник, — поводя глазами — у встреченных, также отсутствующих. Вместо маятника было булькание надутых губ, недопроглоченные и застрявшие зевки — но пока солнечное пятно в прямоугольнике солнц сдерживало эти обломанные инвалидные статуи от полнейшего кишения, разложения и кромсания — хотя уже ничто не напоминало ни о космах, ни о мясе. Вместо них была бледная молочная река лиц, с втертым маслицем, с засохшими листьями кистей рук, с зонтичными разводами богомольных зрачков, инкрустированных радужными обоями облазившей кожи. Так он добрел до Лазарета слабовидящих. Побеленные стены с темно-зелеными буквами мхов шептали прогорклой землей — и высушивали мизинчик детской руки — и потом

уже бинтовали головы желтой мазью — йодоформом — и дышали морфином — из этого своего пальца вытаскивать пытался занозу — вытащил. Вышла обломанная у горлышка игла — и по пашне брюшины ползли и выгорели цветастые кишки — кошками рыжими убегали в кусты — и оттуда неслись в стоптанном войлоке одноногие валенки красных солдат, коротавших линялую гимнастерку, — ломились они опиюшными зрачками, таращась на бревна, что плыли от одного толкания дружно по речке Куку — раздаваясь от кровли, обдристанной сумерками, — нахально краснея и пуча штаны — так дружно солдаты ломили свой мост до самого обрушения и так же начинали румяную сатурналию — в драках. И набекрень голова под плечами выгуливала обвалившийся из петлицы блевотный цветок, обжимая солдаток же здесь краснолицых и блядских, и потому покачивающих венец головы, — те ничком упавшие пионы, люпины, тюльпаны с зубастыми — сильнее чем натянутую нить, дудку зрачка огодовавевшую, — да такие цветы зас(цв)ели на бинтах сквозь виски.

Рассеянно глядя в книжку с перловым отливом страниц, он всунул чей-то вырванный глаз в ноздрю, как ребенок горошину, и стал смотреть им в зеркало, забрасывая по-кошачьи лапку туда, — за зеркалом не было никого. Оно само зашелушилось, и по нему, как

по гладкой крыше, покатились сосульки с ресничек насекомовидных сомиков. Красные маки на чашках в свернутой узлом скатерти прожигали утюгами клеенки. Он сказал пассажиру: другой машины нет — иди на хуй, и побежал, планируя руками к последней уходящей электричке, в которой уже ездили пьяными. Ураган раскачивал вывески на Таганской, в пруду плавали тряпки. Он оголил пузо до трусов и рассказывал приготовившей снедь хозяйке, что кончит ей на снедь. Из кармана выпала банковская карта, волшебная карточка, облизанная и прилипавшая к языку всех крупных рекламщиков и фотомодельеров этого мира. Ты помнишь меня? — сказал он одному. — Я был на твоем концерте — мы пролезли в кинотеатр и купили майки с мешками на головах. Мы стояли стеной и ломились туда, пока всех не запустили. Тот поморщился и сказал: уведите его, — и охрана выбросила его с чемоданчиком за руки за спиной в ночь. Друг, кричавший на весь зал для скандала «Россия для русских» и тоже избитый, прошествовал мимо ширм с изображением Пери Бану для показа детских утренних пьесок. С ними увязался еще нарывистый толстый битюг, который был недоделком-программером, и нарывался, крича, что ебал всех и ее в анус — позволила сквозь простыню. Он лежал уже ничком с переломанными и вдавленными в глаз переносицами, и пассажир оч-

нулся лишь колотящим его по лицу, сидя и дубася стокилограммовыми ударами. Потом слез и поплелся в улицу из тех, про которые говорят, что они стоят черной тенью на портретах в рамке, траурной рамке тоски, изводящей, парализующей, как целлофановая обертка, стрекательной, как «стрепсилс» — в которые никогда не зайдешь. Он шел с портфельчиком в эту улицу, продираясь сквозь целлофановый воздух. Очнулся на другом берегу Яузы без волшебной карточки, без глаз, без ногтей, смешанных с землей и стеклом. Он высадил дверь, где дрались и еблись, ходил босым по стеклам — челюсть висела на плече — мертвый баран с его челюстью вонял под кустом на три километра, вокруг ходил медведь, который хотел свежей трупятины, а заяц с предсмертной судорогой рассек живот отца так, что повылазили кишки.

Рекламщики за круглым столом спиритировали и говорили о самых великих лифтах, на канатах которых висели повешенные клерки, на самой высокой рампе они проектировали будущее человечества — через систему оценок, и каждый вздох дыхания насаживали на иглу. Мило распавшись на части, они сложили пазл: Джон Леннон под деревом Имаджин, только размазанный по крыше огромного планетария. Имаджин, только мы сами организуемся в школы, мы сами будем отламывать руки куклам

— и вы с нами будете колотить слюнявыми пальцами по клавиатуре, а мы будем петь вам милые песенки и пороть вас ебальником прямо в развязанные пупы. Истекающие ногти заныли, хотя они отклеились, отклеился и приоткрылся синий правый глаз. Женщина побежала с бейбе к нему, когда он был еще поваренком, заплетенная в лилейные косы, на добрых ногах и веселых глазах. Она вызвала скорую и долго стояла на вершине первой горы, махая платком степному поезду, измазанным красным загаром казахам, танцующим с красным мячом на кварцевом горячем песке — которых только ослепленный их улыбкой мог бы принять за снежный настил. Он вошел в подъезд в кожаной куртке, гадах и с черным чемоданом — синяя темная ночь проплакала звездами небо, он, ссавший над пропастью красно-коричневым большим хуем, он, убегавший по аллее и бросавшийся сразу под десять машин, когда друзья обнимали и держали его. Он ушел на поезд. Это было прощание. Он сел в вагон, черный, как чемодан. К первому пути провожающие бежали с шестого по виадуку. В промозглую осеннюю ночь. Он уезжал в неизвестность. Теперь уже нельзя было вернуться назад. Он и тогда казался огромным, как чумодан, искавший совпадения цифр на электронных часах, со смирной японкой, с душераздирающей горловой тоской, под зеленым одеялом, где они,

смеясь, тощая и тонкая, и толстая и щекастая, по очереди сосали у него. Теперь он сказал пассажиру: иди нахуй. Он проснулся один на руле на Наклонной горе, откуда бульдозеры счищали стекловату, опутавшую трупы замерзших на теплотрассе.

Посланный нахуй пассажир перескочил в другую машину — ею оказалась старая голубая «волга» с глазами и зубами спереди. Его покатил старый хиппи в шапочке, кидавший под циклой арбузы в метро — арбузы полетели и люди понесли их на головах. В зеркале над рулем отражались он и девушка, черная, как пересмотревшая аниме. Она сказала, что у Бэкки нашли под кроватью истыканный иглами чулок. Пассажир разговорился с ней, пока ехали прозрачным туннелем под Финским заливом — ни одной рыбы, а когда вырулили в форт, начался сеанс психоаналитического флирта: старинное кино включилось, когда навстречу вылетел другой «волгарь», блеснув зубами, и кронштадтский лиман с лианами и фортами со снятыми орудиями курил синее море об синее небо. Бутылка «фетяски» тряслась в ее руках под черною смутью сметанных глаз — волосы запрокидывались, и белый Каспер раскрасил похоронную американскую тачку — там была свадьба, они неслись через весь город. Она черноглазо умирала прямо на виду зеркала, они высадили пассажира и внеслись в голубоглазого второго

«волгаря». Вышли и оказались на дискотеке стрекоз, и лежали как мертвые с запрокинутыми головами на руках у покачивающихся маяков. Пассажир пошел в «Другое кино». Сначала баба в черных трусах под колокол юбки танцевала танец с веревкой. Потом дископанки играли в пустом зале. Один из них был одет в малиновое трико и скулил. Музыканты танцевали с манекенами. Еще один катался на велосипеде в пустом ангаре. Все это напоминало плохой польский абсурдный фильм. Пришла девушка с района, которая интересовалась современным искусством, очень удивленная. Она хотела позвать своих друзей. Раньше же здесь было кафе, а теперь — эвона. Таксист тоже очень дивился этому факту. Пассажир вышел и стал рассказывать всем про вилку в жопе, и черная незабудковая махаонка тоже стала рассказывать, как нюхала маки до кровотечения из ушей, как она умирала под наркозом и что-то там видела, страшную черную молнию, которая высасывала ее зрак, как она видела окровавленную палату — что-то видела, непонятно что. Не белых врачей в масках, не дырявые зеркальца на лбу, а что-то безвидное, тот момент, когда что-то отрывается от нее изнутри, нет ничего лучше белого хлопка, который собирают на корточках, нет лучше черноты ее глаз сверкающих, нет лучше точки отчаяния и второго черного, краюшкой вынимаемого из подола солнца. Начался

сильный дождь с прояснениями. Все кофейни открылись на улицу и цветочки тканых платьев растеклись по стенам домов и обмазались опахалами, а народные певицы в костюмах офис-герл пели про сладость любви высокими войсами и выхаживали в майках по парку, вынашивая свитерки, от которых пахло нежностью коммуналок, клеточек и солнцами погибели. Улицы закрывали на всю ночь, но уже холодало. Солнышко заплыло, оплыло и вытекло сквозь штаны гувернера, который мазал ботинки говном.

Заря вставала, или были красные сумерки с песком дорожек. Деревья листами укрывали скомканные фиги рук. Она горделиво ходила в кожаном пальто и берете. Оцепенелый лес с засыпавшими глазами. Она говорила по телефону во сне глубоким голосом и о том, что слышно было только ее нутру, оттуда вываливались куски сновидений, логические предложения удавались вполне, они катались в метро и дрочили друг у друга одну станцию, так как больше не было станций. Разноцветные кактусы плыли по ручью руки. Оцепенелый взгляд, и синяя радуга по небу ползла за тенью ее век, красными губами она замирала зимой на зевке, а потом отправлялась на майское шествие, где знакомилась с сантехниками. Ее портрет вставили в окаменелость цементного могильного подиума. На кладбище среди

буйных августовских цветов она принесла самый аленький, как ее смелый рот, бешеные кулаки игры с детскими именами для половых органов. Запустила кружку в висок. Она спала в вагонах сидячих, падала в простуду прямо в лесу, когда не было ничего и когда объезжал ее муж за ней на электричках город, что стоял перекрытый, и добирался пять часов до кружного домика, откуда валился пепел и кусали ноги изъедающие комары. Он увидел их целующимися в толпе на пристани в жаркий день, когда ехали с похорон, после коих ее музыкальная карьера инструменталиста рухнула прахом. В тот же цветастый август еще ничего не было решено, они с игручими юбками раздевались с лучшей подругой в комнатах. Она могла петь у «живых цветов», а он колотил ебальником, замерзая, по железным трубам 31-го декабря, потому что его не впускали в подъезд. Он дегустировал сигареты и заработал 50 рублей. Она заснула с инфлюэнцей в холодной луже алтайской реки на берегу, она бредила во сне, она долго терпела, и после оргазма у нее дремуче заваливалась голова и ужимались ноги под зонтичным платьем, она бормотала, пока над палаткой метались тени огня, крики у таза упившихся манагой. Жутчайший переезд в согбенных креслах заболевал ею, тут же следовали ссоры, послания на три хуя. Она мыла сапоги в раковине, выпалывала клубничные острова в красной

тенями даче, она морозила его, выглядывающего из-под шляпы с подставным зубом, — Элвиса. Она давала целовать свои тонкие руки, ее привезли в гостиницу, где она всю ночь извивалась, истекая, и выставляла грудки в зеркало, и глядела на вокзал и площадь, всю в огнях, «как мы всегда мечтали». Она вечно нуждалась в деньгах, но верила в мужскую дружбу. Металлическая елочка со свечами крутилась и звенела. Ее хватило на целую жизнь. Капризной шаровкой она была. Так не было никогда в увядших осенних городских цветах, на нищих скамейках, в морозном лесу, в перловом ожерелье, в заводи с муравьями глядели ее немые полусонные глаза, и раздавалась изощренная брань и лузганье чужих костей. От ее квартиры расходились темные дорожки с дружиной фонарей, они вели к столу, где сидели торчки Стакан и Сквозняк. Оттуда летали выкрики: ты олень. Олень на велосипеде, в шортах и в шляпе. Она упала, сопливая и окровавленная со сломанной переносицей, дважды — попав под автомобиль и пьяно свалившись в канаву во второй раз. Ее обида была тем самым темным небом ее немых, нежных и дамокловых глаз.

Под плаунами черных зонтов и вспухших щек пьяная немота ползла по дендрарию мимо пруда луж и сосновых дорожек, по раздавленным лягушкам. В темноте вскрикивали, кого-то душили, и ведро темнело,

и нога все ебунела там, где зашивали, а теперь завязывали глаза. Она была как сгнивший огромный плод, светилась болотными светляками, сырым ветром стухшим. Здесь же поползни бегали по веткам, щекотались иволги, он проснулся раньше всех на дороге и видел, вот солнце, вот чужой сон — вот подушки, вот сон, сон, сон наполнял их живым макияжем, и это присутствие живых, и их неряшливый, дышащий и пукающий сон сопливцев теплых, и дождь действительно стучал в молочную миску. Когда пришли туда и стояли на холодном мосту с холодным вином везде горели огни жарких комнат, но здесь, снаружи, в ночи было одно умирание, хотя там коробочки с пряностями скреплялись в жалком жилище. То жалком, то жарком, и вот они стояли на кладбище, на его железном мостике, а когда выходило солнце, все эти обитатели свертывались как денежные листья. Огромные прожекторы, огромные аллеи — закрытые кабинки, в которых сидели и играли в маленьких человечков. Огромные прожекторы солнца, заиндевелый автобус или встреченный страшный человек под ручку с дедушкой морозом, и речка Зырянка, и ива, на которой лазили, несломленные ветви за ивой. Они поднимались по Наклонной горе туда, где прямо за школой, и снилось всегда в Рождество — то вот он идет по Наклонной горе до перевала, а за ней начинается восхождение, и ведь до-

ходит, и ведь сестра тоже здесь, и здесь первоклассники отбирают десять копеек, и здесь ухохатываются в ночнушках, лежат месяцами и думают, что не поднимутся больше никогда. Прямо за церковью и ипподромом растет та Наклонная гора, откуда опять в Рождество начинается плавание на прямоугольных лайнерах по американским рекам, и вот стоит он в американском магазине и не может посчитать деньги за купленный сырок, и там же, за стеной дождевого ночного продрогшего сумрака, где зажигали зажигалку с ним — с заиндевелыми сонными веками Идрису в синей шапке, там, за этим дождиком в четверг, на самом деле, за этими подушечками с иголками, там и была эта высокая гора, оттуда — через овражец прямая дорога в ковчежец — который разрезает пирог моря, оттуда дорога прямая, а здесь лишь мокрый ночной цветок — девочка с фонарем-котелком, — вот там у самой высокой сосны, вот там никогда-никогда не продрогнет она, а за ней в эту ночь, когда все прятались по кустам, у этой девочки-сиротки на кладбище, в комнатках с бирюльками, прямо из окон через овражец выносится зимнее поле и море-окиан, большая сонная невидимая страна, и это ветхое временное жилище — кабинка, оживает только по-пластунски павлиньими жизнями розами ранами ртами пёздами глазами кожей теплом рук холодом пальцев раскрытые, как колодцы

раффлезии секвойи стрекозы вот ими живыми, который каждый, как древний огонь, древний вулкан, грязь вот в этих штанах вышагивает и стирается только с мелованной, как налет черной доски — здесь прошел огонь, огонь здесь утоп, и вас не узнают, что это был ваш огонь, что он утоп, ут-ромбо-вался, здесь сквозь ветер сна был спуск и выход с Наклонной горы, когда она перебегает в снежинках от фонаря к фонарю бессмертная, как носик каменного чайника, бессмертная, как ветер сна, пронесенного через запах волос, и бессмертная, как найденная божничка кургана Наклонной горы.

В книжном магазине раз за разом падают от эпилептических припадков — там от книжных страниц исходит дух бестелесного марева, как будто под снегом или в подполе шелушится труп. Отпетый стрелок зашел в вагон метро и этот труп в пустом вагоне обнаружил. Дети, накормленные стиральным порошком, спали в колясках. Отпетый стал обходить бензоколонку, откуда начался стоп, и увидел бегунов вокруг огромной крепостной стены Новодевичьего, над черной водой чувствуя копоть — обходил два часа. Потом потерял ее, она испугалась одна среди огромных могил. Тогда он извлек почтовые марки, купленные, чтобы погреться на почте. Туя зеленела, каменная баба лежала такая маленькая, ее сонную голову надымом солнца и леденящего ветра

уносило туда, где кости прозрели кенозис, который был дольше того прохода через вагон. Отпетый стрелок шел через город ночами сквозь сон с воспаленным давлением глаз. Его смех рвался наружу. Холодильник, набитый мясом, потек, пока угоревшие комбат и его друг из Таджикистана — его посадили в самолет с дипломатами, теперь только были найдены в луже крови потекшего холодильника комбат и его друг. Подземное мертвое озеро с кругами по воде при выстреле вспышкой в воздух ночевки на веревках и долгие сны на белых камнях, на крыльце, угвазданные глиной, — вот что рассказывали в комнатке, где был сделан даже занавес — театральный полог кровати, вынесен игрушечный столик, и цветы кусались. Антикварный шкаф для двух близняшек-старушек, устроивших кукольный театр — заставили задувать тридцать восемь свечек — наматывая нервы и обкусывая им края — полностью выселили дух десятилетий из комнаты, где все торчало, включая хозяев: полки с книгами про Кортеса и линию Мажино, все это выселили: ползали на лошадках дети, которые превратились в поющих бабцов. Мертвое подземное древнее озеро с кругами по воде вело в грот Синдебобер. Старушки, как куколки, плакали без коррекции воли, словно играющая мозговая шкатулка, наряды и красота не могли изменить непоправимости. Не радужка глаза, а кристалл на затылке, невозмож-

ная амальгама битого льда, шипящие лампочки, ночные крики, натянутые ниточки, на которых повисли мышиными зубиками сердца. Врач впервые проспал работу, но в своей медицинской правоте терпеть смерть и смиряться, смиряться как ни в чем не бывало, все это как умные врачи делают вид, что дураки, и лгут при этом, жертвуя собой, лгут безбожно, лгут в лицо. Теперь загородили уже краеведческий, куда той пустой и страшной осенью на леса в петлю с бензином в рукавах шагнул человек. Человек сказал: я делаю суицид. Все двигались, словно немые дохлые рыбы, их плавные циклы продолжались, как будто бы в параллельном коридоре. Обгорелого увезли на скорой, никто и слышать не хотел, что в автобусах в области пускают газ, а людей мертвых раздевают и грабят, и никто не видел этих автобусов, никто не знал, что вырезают целые деревни. Автобусы подъезжают прямо к витрине, где рухаются эпилептики, и отъезжают от той бензоколонки, где начался стоп.

Отпетый стрелок лихорадочно засмеялся и поехал в Звенигород. А оттуда в порт с портфелем. От чая пуэр, восьми таблеток, прогулок в зимнем саду и таких страшных гостей, которых видел, вот уже десять лет назад — охранников на ресепшене, он решил бухнуться в ванну, которая была чуть больше раковины, а мобильник забыл в комнате, в девять утра надо было садиться

в машину и сопровождать делегацию, а замок в сортире заклинило. Аккуратно разбирать дверь, заговариваться уже, а потом прямо от начищенного трехцветного говна двигаться на Воробьевы горы, чтобы срать прямо на проспекте возле высотки Московского университета под смех девушек — и потом мыться в баре «Пожарная охрана» и двигаться на хуй. Вышел из двери томской гостиницы, подъехал друг в грузовичке с маленьким полешком и погнал отпетого в порт, затошнило опять от восьми таблеток, чая пуэр, пакет полетел мимо лобового стекла следующей по ряду машины, весь заблеванный пассажир наконец полетел, проваливаясь в сон. Самолет сел предпоследним, остальные полетели дальше. В первом самолете летел Никсон, он пришел в этом забеге предпоследним, а Брежнев занял второе место. Пассажир сказал шоферу: просыпайся, приехали, вот Сторожевая башня Наклонной горы.

Гусь да гагарочка, мэндэмс в поцелуе, бессонные ночи белесой гари, и вот — проклятие изгнанной из Франции цыганки, чтоб ты упал, ты не уйдешь безнаказанным. Пассажир три раза перекувыркнулся на скользкой улице возле куба того самого кафе, где была та роспись с чашей и бритвой, от которой шел тот же белый дух тлетворно мартовский, когда душа выходит за поры кожи талого и произносится слово — всякий раз так — обморок Христа,

когда произносишь белыми буквами «Христос» в магазине, где валятся эпилептики.

***

А стоп уносил ее все дальше и дальше к другим людям, квартирам, павлиньим хвостам и щучьим костям по диагонали выпавшего из рук веера полночных селений. На сороковой день пассажир и водитель приехали в степь — неслись с Наклонной горы — подступало к горлу под сорок градусов мороза, отскочило колесо, рухнули в кювет, вылезли, взяли фомку, взломали дверь и парились двое суток в чужой баньке под кейфом из сейфа, под рикшей отвыкшей, под крышей продрогшей, кто их нашел, неизвестно, кто их спас неизвестно, кто их вызволил, неизвестно, они не рассказывали об этом моменте, да, об этом эпизоде они умолчали.

IV. Опер из Кыштовки

Слишком далеко было то, что мы видели, и, казалось, оно совсем исчезло: маленький город, где водитель вышел из троллейбуса и забыл о нем, а тот поехал сам к самому краю обрыва и там накренился. Слишком далеко были улицы, на которых стояли вертикально огромные скамьи и не менее высокие деревья. Слишком далеко были комнаты, в которых веселые жизнерадостные мужчины избавлялись от ненужной дружбы, и, с искаженной оторопью лицом взбешенный пария уходил, не допущенный до маленькой певички. Руководитель театра переключал консоли, говорил в громкоговоритель, дергал за ручки — теперь эти театры пустовали и отмотанная кинопленка рвалась. На каждой окраине еще были эти глубокие темные норы, где прежде было светло от высоких окон, слишком далеко были они, казавшиеся маленькими, настолько, что в них умещались бы капсюли от патронов. Однако за вскрытой границей выкопанной траншеи для новых труб начинался опять старый асфальт, высокие тополи, мусорки, тени деревьев, скамьи. Светлый квадрат детской площадки за зарешеченными стенами из железных прутьев соседствовал теперь с темными кустиками и скамьей для искусанных бомжей. Старый пустырь, засаженный деревцами, с надписью знатных семейств,

с деревянным идолом, изображавшим совокупление мужчины и женщины в позиции стоя и сзади, как из папье-маше — заменял старые декорации, которые выставлялись на фото везде и всюду — и перемещались в музеи, где никто не бывал, забытые музеи. Исчезли задворки, где мы могли есть снег в старых красных, выброшенных десять лет назад креслах, огромные клумбы сменялись фонтанами, где танцевали свадьбы в национальных нарядах, плескались голые дети, а вокруг торговали китайской кислотой и продавали детей. Автомобили неслись быстрее в сто раз, но полностью разбивались, не разминувшись с собой на залитой кровью трассе, так что с окровавленной головой бежал от них единственный выживший, бежал, пока кровь не засыхала на солнце.

Ничего не менялось до поры до времени, старились только восковые фигурки людей, они становились все желтей и желтей. На срубленных ивах лежали плетеные корзины венков, на заколоченных заборах висели обрывки собачьих шкур. Но за чертой взбуренной земли также был зеркальный асфальт и подъем к кладбищу на горе, где в керосиновой мастерской, как в янтаре, засыпало прошлое, а единственный туалет в подвале радиостанции сам разговаривал надписями разных десятилетий, которые свидетельствовали о разных поломках бачка. «Дернешь, обосру!» какого-то года ничего

уже не значило в эту секунду, как и посланный тридцать лет назад сигнал радиостанции, пусть даже и принятый, и исполненный, расшифрованный, и дошедший. Он никак не влиял на катакомбы, в которых остановилось вечное вчера. Но которые стали сносить одну за одной: мыловарни, старые больницы, старые пути похоронных процессий, старые тюрьмы, что, собственно, одно и то же, с находками для археологов — сплетенными друг с другом скелеты, — все это сносилось, ровным ударом топора или стеклореза, распарывающего целые пальто вместе с потрохами, отпарывающего пуговицы из мыла, разбивающего зеркальную витрину и снимающего лед с пруда, где отражались отрубленные деревья половины столетия. Зеркальная витрина погружалась под воду, карьеры заваливались, и даже башни самоубийц достраивались сверху какой-то пластмассой, потому что взрывать их пока не решались. Зеркало поворачивалось к стене сгоревшей квартиры, откуда вынесли старика-владельца, и затем выскребали с ее дна четырехслойный янтарь краски, сделанной из говна и окурков. Имущество делилось, овощей отправляли в приюты, и за какие-то двадцать лет все переставлялось с ног на голову — аквариумы переворачивались обратно, как возраст матери во время зачатия, и люди умирали, как и рождались — двадцатилетними.

Черная точка зрачка, который бил по мушке, всякий раз новой, мухе-поганке, сочилась ядом, который принято называть здесь было светом, раз в двадцать лет возобновлявшим молодые годы, и в душном гробе фотоателье двадцатых годов проявлял фотографию юноши, у которого в пять лет на плече выросла стигма, и этот лучезарный свет черным кнутиком бил по лицу и стегал вместе с ветром, всякий раз оживающего юношу в новые двадцать лет между солнечными затмениями, оживлял, как в последний год, всю жизнь утопающего, только песни, которые неслись из репродуктора, становились на десять лет старее, парковые кафе раз в десять лет меняли репертуар. Эта зияющая, разрезающая точка, та ослепительная щелочка, через которую можно было смотреть, смотреть и видеть описываемое на словах, вдруг бросала в тебя перевернутую молочную ватную подушку, так что читать становилось возможным только стоя, вышагивая в шортах сорокалетним мужиком на квадрате ковра. Подушка возвращала тень матери, ее любовное тело, так что эта пищевая подушка сбивала с ног, и хотелось это предотвратить, отменить и запретить, потому что это было любованием увечьем, волнением, которое пахло прахом. Читать возможно было только в одиночестве в двухкомнатной квартире, в черных футбольных трусах, и только в той квартире, где оставалось вчера, топор, ста-

рые польта, шкафы, и в этом стоянии и шатании с книгой не было сна, в этой квартире нельзя было спать одному, но можно было лишь понимать присутствие матери, когда она уходила или уезжала.

И то, что не было доведено до конца пять лет назад, переход в рай, в слово, в озон, в вознесение, во взятие на небо — в бесконечной утрате своих движений и телесных координат, когда из горла неслись песни, песни и песни, и то, что пять лет назад было не доведено до конца — белый шкаф, солнечное затмение, помрачение окон и возвращение живой бабушки в образе ее дочери, перенеслось теперь на год столетия Марии. Вечная стирка, маета хождений на паперти, ношение передач в итоге привело к слабоумию, в котором живой оставалась лишь воля впадающего в детство старейшины. Пионы, ящики с мороженым в день ухода Велимира в землю, в окончание солнцестояния сменилось слуховыми аппаратами, слабыми дугами колен, несчастьем оставленных матерей, и только отдельные веселые радостные крики, оглашающие поликлинику: сегодня день рождения Татьяны, после чего следовало сто звонков с околотка, этот обряд повторялся и со смехом нашим с сестрой вспоминался всякий раз — это уже было, было, миллион раз, в различных обстоятельствах. Впадение в детство, которое я так любил у бабушки, — было таким любопытным и смеш-

ливым, через двадцать лет, которые отводятся на жизнь человеку, уже внушало смертный страх и испуг, когда вскрикивали оба, входящий в квартиру и обнаруживающий его за мытьем посуды, крик вскочившего солдатиком на кровати от ужаса, крик высадившей перед смертью дверь, пробуждали те неотпетые сны, и все это, когда пять лет назад можно было бы покинуть предел.

Вот один из этих снов, среди бесконечных повторяющихся и сбывшихся воспоминаний, единственный раз прочувствованных, когда от тебя отлетела уже душа, воскресный обман — когда ты вспоминаешь то, что было лишь один раз. А один раз была только Пасха.

В том году все пришло на месяц позже — зацвела сирень, запахла черемуха, распустились почки, прошли заморозки, и впервые были майские каникулы, и новые майские смерти. А так все было по-старому — и поликлиники, где как в глубоком сне ходила Проданная тень, эти глубокие колодцы аллей, и гриппы сороковин, начинавшиеся с сороковника в день смеха, и изумленно сломанные и разбросанные у библиотеки цветы. И минуты, которые казались сутками, тогда как позавчерашний день был уже неизвестно когда, в праистории, и месяц, длившийся так долго на самом пике копья, на его острие, когда пробуждался каждую секунду и в конец уже вообще не умел спать, а только сторожил квартиру

и слушал радио, а вернее, вещал в голове так, что нельзя уже выключить, все отошло на такое дальнее расстояние, с которым страница электронной энциклопедии, прочитанная за минуту, с биографией того или иного принца, равнялась по крайней мере на полвека, срубленного и брошенного в безголовый пруд. Прошедший месяц складывался в столь давешнее, а полгода проносились в небольшом скосе глаз. И каждый месяц открывался новой смертью знакомых, и вспоминались старые анекдоты, которые не мог повторить десять лет и понять, почему смешно, все это угадывалось в этой точке ежесекундного пробуждения.

Вот сон, что снился, а потом сбылся — аудиенция у матери, в которой начинаешь понимать, что значит смерть ее отца, нападение и вечное детство. Мама с блестящими глазами рассказывает свои тайны, которые словно бы хотела отложить на потом, подготовить свое отсутствие. И оказывается, что этот разговор уже снился или повторялся, как и то, что раз в шесть лет на Павелецком вокзале сыновья Германа перетаскивают через мол и обрыв над рельсами, если упадет человек — задержится минимум движение, старичка. Одного и того же старичка, одинаково схваченного за подмышки и перетянутого через голую стену. И светлый разговор после совместных бессонниц, пробуждений каждый час со

сломанными будильниками, или общее расстройство нашей троицы, когда все забывают слова и теряют ориентировку в пространстве, но собирают такой приступ трехглавой головной боли, такое усилие власти, что давно бы сдвинуло и перевернуло бы вновь глобус, — и взаимное экранирование мембраною чувств, действующее на любом расстоянии.

Весь наш театрик, в котором теперь участвует маленький, не допущенный в армию санитар — рожденный в пещере, в пять лет отмеченный стигмой Егор, в шесть лет блуждавший по зимнему лесу с одинаковыми круглыми дорогами, забредающий все глубже в бурелом ночной чащи, вниз головой кувыркающийся в три года со школьного физрукого козла, падающий и переворачивающийся метр с кепкой, или его мать, совершенно слепая, с минус четырнадцатыми очками, теперь не могущих больше переносить истероидной войны, нашей властью перерезавшей полмира по живому, и лишь беззвучный и веселый смех над падением Головлева, обрекшего венчанную жену на шесть лет долготерпения, когда лопается перекладина креста, который он вбивает на балке перекрытия, а затем его ноги застревают в стремянке, а сам он падает вниз головой и чуть не ударяется о бетон, но голову успевает удержать в своих ладонях страстотерпица Ирина, нежно так, словно баюкая его, а на следую-

щий день узнаешь, что описал именно эту сцену в стишках о желтушной грозе, когда руками не достает до земли акробат, вертящийся на перекладине плеч. Веселый заливистый смех — война шла семь лет, и все, что было, вдруг пропало, будто вовсе не бывало, шоферюга с порванными связками руки или там полка, раздробившая лицо пополам, — какое там отмщение и аз воздам?

Синие рассветы, встречаемые в канун месяца мертвой пчелы, несение стражи, длиннющие дни в чужих городах, истоптанных семи сапогах за неделю, с шести утра до двенадцати ночи, в ледяном хрустальном Иркутске, где встречал большой друг семьи в год смерти бабы Марии и через десять лет, а в промежутке посылавший сюда сына, от которого пахло пивом, и так не нравилось и возвращение к ним зимой миллениума, уже сам пьяный, а третьей встречи уже не бывать, потому Людмила Сигурдовна истончается, без него, и не хочет разговаривать с теми, кого знает те полвека, что сейчас ударно доламывают топорами. И каждый человек раз в два дня говорит мне, что все рушится, кроме белого мозга вместо молочного, видимого насквозь лица жителей на прошитой территории. Здесь же болезни трех сестер, из которых родила ребенка только неходячая, их морской кортик офицера, который когда-то давали подержать в руках, здесь же любитель писать пасквили под свобод-

ным мышлением, для которого в городе не существовало ничего, кроме дома книги, — его роскошный прилавок, где было все дорогое за пять рублей, все новые книги с прекрасными синими, сафьяновыми и красными обложками, которые хотелось купить все, и где был лишь однажды. И вот этот Ежик — опять как двадцать лет назад, педикулез, туберкулез и тиф, рассказывает, что верит даже в деревянную Деву Марию, в которую прячутся куклы и мимы, от которых смеется детвора, но которые боятся Смерти, в теле которой Дева прячется. Дева невидима, но покров ее спасает, а сама она неколебима, как колыбель любимой.

Исправлять мелкие ошибки Мессия будет уже на том свете — собирать разбитые стекла на полу, обрывки кинопленок, устранять плавно пластмассовой ложкой искажения и фоны́, подправлять локотки. И будет он ходить по тем дорогам и делать это вслепую, потому что свечечный глаз лучезарной тьмы и само зрение — это и есть искажение времени, и переворот лифта, и падение с застрявшими в стремянке ногами. А что до постигающих его мессианский календарь, то на каждом глазу буден и праздников по иголочке, в каждой куколке по булавочке, на каждой бирке по номерку. И из каждой щели ветер-ветер-ветер — смывающий щеки. Потому что все разрушено.

Разрушено. Как разрушено? Сначала мы перешли на летнее время, украли час сна, чтобы быстрей побежать. Побежали быстрее, живем как на экваторе. Бежали так быстро, что природа решила опоздать — в тот год все было на месяц позже, и это не связано с поздней Пасхой, ту вспоминай когда хочешь, или через пятьдесят лет регулируй календари, когда вот уже два года назад все пересохло, выплыл старый Бердск над Искитимом с костями, когда-то затопленный. Нынче все залило обратно. Перепад температур составил от сорока до сорока. Перепад настроения после 1 апреля также стал допустим от сорока до сорока. Мучение, острейшая боль утром, невыносимая боль. Вечером бешеный восторг, просто как на столбе вечером ты на нем, озираешь окрестность, покачиваясь, утром просыпаешься под ним уже неподвижным. Магазины работают с десяти до девяти, в один день так стало. А если потом тебе становится невмоготу, если фанатик стал на поездах времени кататься, то под солнцем ходишь, под дождем, под снегом, под морозом — и все ничего, рожа кирпичом, а потом вдруг раз — инсульт. Или бьешь по роже каждое воскресное утро кого-то, тени не видя, а потом тебе солнечный мячик на голову валится. Побежали быстрее все часы, разогнались ускорители смысловые, чтобы быстрее долететь до того берега, дальнего, а он, берег, обвалился пропастью на сто веков назад. И застыл в высшей точке,

как птичка, и теперь вертится там, как флюгер, как в тире, хоть стреляй, хоть раз двадцать стреляй, все птичка там же. И поет петушком. Десятилетие, когда рухнуло в саване в Индийский океан, все еще обрадовались и кричали: «Мы его достали, мы его достали и сделали». Усаму достали? Нет, его в воды погрузили как раз, и оттуда уже не достанешь. Так вот, с тех пор и перешли в экваториальное время, хотя живем на полюсе, как бы Земля-то не перевернулась, как бы солнце не треснуло. И тогда издал фетву о прибитой к зениту птичке: запретить будильник, запретить завтрак, запретить память, запретить сон, а сам сквозь забор войти в этот сон, без воздуха заразить всеми болезнями. И пока она от них очистится, вся подземная кровь испарится, купаться негде будет. И потом вдруг двадцатилетней давности прогнозы погоды начинают сбываться, и кошки бьются в дни красной луны в задымлении, прыгают с балкона, и потом действительно птичка на солнце сдохнет, завялится. Вот так выиграешь время, думаешь, а оно обвалится, как асфальт на Красном проспекте, после землетрясения в Кузне, после взрыва на электростанции в Праге. Вот такую вот фетву издать, и в один день на небо взяться, по мосту пошатавшись на остановке «Лесоперевалка», по снегу с морозом и с собаками. А Муха на мушке летит себе спокойно ровным летом. И тапок за ней летит да никак не побьет.

Поддельные иконы показывать, рассказывать анекдоты о том, как Игорез прикручен к батарее, а Тэн путешествует по миру со своими баснями и иконами, и иконы ему открываются. И сидит перед ним арлекин в красном домино, в красных рейтузах, и проблеск ужаса и удивления от жестокой расправы на день зимнего солнцестояния, теперь в дни равноденствия, показывает диббучью рожу, забитую красными и синими хуями, так что целоваться не может, чтобы опять набрать в рот воды и выплюнуть в подземное озеро, чтобы можно было опять купаться. Дом из китайской ткани, как кепка — светлая горница искусственная, где голая старуха расхаживает, и лишь собаки и мороз на снегу настоящие, в этой бане, а там загорают чаеманы и про банные листы рассказывают, поддельная избушка, лишь собаки на морозе настоящие, так они и всегда были. Вот потом и стоишь опять над мостом, и лежишь под ним с проломленной головой. И после 1-го мая, когда сидишь под снегом на дачном участке и трапезничаешь, как на поминках по святой троице, и вот Пасха, которая каждый год случается, в этот раз острейшие перепады, мучительнейшие скорби носит по ветру, и только в последний день мая все звезды на место становятся, потому что собрались психи в борделе и рассказали друг другу о погоде двадцатилетней давности, о том, как людей узнают в толпе по портре-

ту и те жизнь вам спасают, еще до интернета, когда все и так одновременно происходило. И вот встают звезды на целый июнь и пляшут алой юной зарей, змеиными огнями, несением службы, стражи, и кончается сезон или год бессонной и бессменной службой на Духов день, а в промежутке вопрошаешь, доколе еще нужно терпеть. До Троицы и надо. А в саму Троицу мужик звонит, что зимой в бане кадил с вынесенной дверью без еды и без ничего, звонит в саму Троицу, Духов день, со дна самых высоких тополей, со дна самого кладбища, где резвятся второклассники, и рушат могилы, и жрут оставленные любезными конфеты, звонит мужик в самый Троицын день. Почему ты не пришел на могилы? — и все, разверзается земля, со сломанными цветами, брошенными от паперти библиотеки и запитыми кузнечным бальзамом и зверобоем еще. Почему ты не на кладбище? — спрашивает мужик. Потому, отвечаю, что всенощную стоял в комнате своей, караул на мосту менял, патрулировал до рассвета, как парящие грифы, красные птицы. И тогда наступает последний день года уже через день, и на следующий день догоняет еще поздняя весть — новая смерть, новое убийство под улюлюканье читателей городских газетенок, которые не понимают, что значит «убить человека». Зеваки столпились и гогочут. Вот, выиграл время немного, все позже наступает, может, и смерть отсро-

чить удастся, высаженные двери, сон на столе с горящим на плите мясом. Вот такая фетва произносится, а те, кто на кладбище потанцевать пошел, — Майя, Юна, Юлия и Августа, провалились под землю еще в запрошлом году. И ничего себе, опять идут и топчут лягушек и мертвых пчел, когда все рушится под ногами, провал за провалом идет, пропасть за пропастью, над которой летит чадящая Муха, и с мушки глаз не сводить опять приходится. И так каждый день, каждый день, каждую секунду. За менархе следить надоело, плевать в подземное озеро надоело, надоело купаться, а между тем Муха влетает в квартиру и тут сидит, кроткая, спокойно с ней, хорошо, без нее же, без нее же жизни нет, боль несусветная — так что басни только рассказывать, сказки сочинять. Какие тут сказки — лежишь под мостом, на котором рота стражей стоит, а еще психиатрическая бригада начеку по больницам стоит. Вот лежишь под мостом, а над тобой сутки стоит тень твоего двойника, и беседуешь с ней о том, умер или не умер, надо ли просыпаться, надо ли чумазо изумленно исцеляться, надо ли дыма надышаться, чтобы морской кортик, к стене прикрученный, снять и идти дальше резать и бить им, стилетом, кортик с высокой стены выше птички, что за солнцем живым стухла, а второе солнце, черное, все глазеет и льет черную магнезию, ядовитые взгляды, пусть Мессия будет слепой и сбудется в вашей

жизни, а в жизни зрячих пластмассовые линзы радужные вставит, в стекла слепые, в слепой дождик, в грибной дождик, и будут потом про тебя говорить — ты уехал, опять тебя убили, опять тебя подменили. У тебя пластмассовые глаза, а у Маниту резиновые, у него сераль, бахча, стройка, и он хочет пахать землю и ни о чем не думать. И ему даже не нужна Кая. Только он забывает то, что сказал две секунды назад. Бессонные жирные глаза. Везет он свой автомобиль, грузовичок, медленно, иногда ломается на дороге. Времени у него немерено, а сезонов и ему не хватает, все равно. Так вот побежали быстрее, мессия сбылся у мыльного виска, выиграли время, добились отсрочки, теперь оврагэтоговремени, азаоврагомещеовраг. Что происходит на самом деле в этом овраге возле дома под названием Чапаев, перед мостиком, да с той стороны, где гранит был. Вот какое здание там находится на самом деле.

Летний день, синие тени от солнца. Поехал, захожу в незакрытый подъезд, поднимаюсь на верхний этаж. Открывается дверь, спрашиваю покойного Гаврилу Асклепиевича Темишоарова. Открывает женщина в черном и с черными глазами. Говорит, что он отсутствует, уехал по делам. Называю ее по имени (не удалось восстановить, кажется, Марья), чему она удивляется. Еду на другой конец города в бывший НИИЖТ (где ра-

ботал и откуда выгнали), но нужно еще вернуться назад. В НИИЖТе конференция. Заглядываю в дверь — там мои одноклассники. Зайти боюсь из-за того, что выгнали. Разговариваю с кем-то, который что-то в коридоре громоздит. Захожу — на полу сидит Леша Кич и он же, но немного другой (воспринимаю как его брата). На кафедре сидят девушки — одноклассницы. Оказывается, Леша Кич пьян так, что не может встать. Поднимаю его. Мы решаем выпить. Оказываемся на Кропоткина. Вечер. Зима. Леша Кич отстает на светофоре. Мы оказываемся и переходим с Усочкой. Переходим. Я спрашиваю: где живешь? Отвечает: я дома живу, а ты снег с балкона не чистишь, — и показывает на мой балкон. Идем сначала куда-то в район бывшего огромного оврага, а теперь это комплекс «Рояль парк». Почему-то заходим туда, а потом должны пойти выпить. Я говорю: у меня тысяча. Он говорит: у меня пятьсот. Заходим. Он оказывается в черных брюках и белой рубашке с дорогими часами и перекладывает какие-то документы. Я показываю ему картинку про бунт Пугачева и говорю, что это он — похож также и на Рогожина. Появляется Белый в маленьком двубортном пальто. Я начинаю поднимать его и крутить в воздухе. Он падает в снег, становясь как исчезающая куриная тушка. Усочка-Пугачев сдавливает его кулаком, выжимает и наклеивает на дерево в виде черта-

наклейки. Появляется Серега (покойный). Мы в «Рояль парке» в комнате прессы. Я говорю ему: я тебя четыре раза уже видел во сне, — и показываю руками. Он в первый раз говорит мне: Ненаш тогда рассказал, что Ильяз (точно не помню, не знаю кто), всем сказал, что меня зарезали, на самом деле зарезали другого. Он одет в черные брюки и строгую белую рубашку. Показывает жест двумя пальцами. Усочка говорит, что Серега недоволен мной (агрессивен). Вдруг появляется сестра. Я предлагаю ей выпить с нами, но в другом месте, здесь как-то нельзя. Сестра говорит, что у нее есть полчаса времени. Появляется Пабло, пробегает мимо. Появляется Бурябор, он садится за стол со мной. Серега берет микрофон и поет песню — слов почти не разобрать. То, что слышно: есть первая тюрьма — в ней тесно (все забито), но хорошие условия. И есть вторая, большая тюрьма. Мы с Бурябором жидко аплодируем. Я думаю, что, наверное, это сон, сомневаюсь в увиденном и просыпаюсь. Очень светло в комнате, солнце бьет в окно, как будто вышел на свет.

В этом и еще другом овраге, на летном поле в районе 70-х годов постройки на плато стоит все тот же квадратный зиккурат, уводящий через выставленные залы вниз по лестницам. На клетках туши деревянных оленей, и эбеновых, и эпоксидных собак, там и встречаемся мы с Серегой и Усочкой. Чем выше сожженное бен-

зином летное поле, полностью выгоравшее, как на Взлетке, тем глубже спуск в этот овраг, в который с отвесных горок скатывались, как камикадзе, на санках или съезжали по плавной дорожке в деревенские огоньки. Все глубже спуски туда, в этот квадратный и ветхий музей, с летного поля. На которое садишься и заворачиваешь прямо к отдаленному лесу, где в неизвестном доме квартира Павла или непонятная квартира, где ждешь второго сына Германа или находишь холодильник с двумя сладкими сырками, в котором светятся влюбленные глаза Януса, снящиеся в дни синих октябрьских по желтому песочку расставаний, где приматываешь мамины маленькие часы к дверям музучилища в утренний день. Это тоже всегда не уходившее вчера. Или садишься в сквозное скоростное метро, которое везет до Москвы, или в полностью раскрытую солярную голову снятся и спустя десять лет сбываются две сестры, Муха и Цеце, в антураже кофейни, который еще не менялся. Когда все вновь разламывается о кирпичную голову в незнакомом районе на горке и из щелей вырастает древесное колесо, всегда то, что было вчера. Или здесь вот в индийской кофейне с глазурью арабских волчиц и гиен желтых коней, как пергамонские сцены совокуплений стоя и ассирийцы. Где Капитану рассказываешь тысячу и одну ночь с турчанками, выходящими ночью на черный двор с поцелуем в кори-

доре, здесь же сбывшиеся сны из неустановленных мест и майские взломы стеклянных саркофагов витрин, когда все деревья хрустально осыпаются и блестят возле рынка эпилептоидных измен. Все это уже по-иному, когда просыпаешься воскресным вечером и не можешь вечер от утра отличить, не можешь так же, как раньше, так же, как в сказке, так же, как мама. Или вот страшный сон, когда сосновый гроб на лестничной площадке и по несколько раз в год умирают Александр и Эмилия, или самый страшный сон — два часа разговариваешь с Лорелялей, и вот почти уже ты ее, и она с тобой, и споришь с ней и ее богородичное в духе немецкой живописи Грюневальда, румяное лицо с золотистыми щеками уже с тобой, как вдруг наступает утро, в светлую квартиру входит канцлер Ирина, в гости к маме пришла. Или на бензиновом балконе принимаешь мамино зеленое платье за ее мертвое тело, светлое детство так слетает сверху со смертью, так исчезает, и никогда не приезжает второй сын Германа, так не дождаться проводов, так сны, что сбудутся только после смерти, и не у вас, отличаются от тех, что, бывает, сбываются тут, и поэтому сон с Гейде в одной спальне, маленькой, как люлечка, или сон в горячей шашлычнице-гробе с Иблисом на лице которой зернистая щербина в зрачках и бесконечная старость усохшей красавицы, которая каждый год ловит свадебные букеты, все, что не

сбудется и потому не позабудется, сто раз предвосхищено-предугадано, а судебно выходит не так.

А судебно выходит так: только короткая встреча в ночном городе с человечицей, которая хочет говорить только правду, не может есть медленно, потому что возят ее на бессонных вахтовках, потому что дети и ужасные пустыни холодные ночью и расцветающие весной всеми цветами, что задыхаешься от хлопка и от ваты эфирной, мир речек говорящих, поющей трудной тундры обезвоженных тел в процессиях под цветастыми знаменами на растоптанном хрустале весны, пробивающимися лишь пасхой, где все веселое, все мертвое, все живое так в открытую уносят степь тебя и в сквозящие поля и пропасти, закосневшего на вахте и службе своей, с пузырьком чернил во рту, с изжеванными сенильными ручками, полностью продувает тебя ветер и проводы той, кто говорит только правду.

***

Опер из Кыштовки стоит у стола. На столе лежит кодекс УГРО. Опер начинает сверять свои версии судеб, которых у него неисчислимо, не вспомнить уже сколько. Опер сверяет версии, находит потерянное письмо, ботинки, часы, но фамилии утрачены, утрачены имена. Опер продолжает сверять и сверяет до наступления темноты. По-

сле укладывается на верстак в каптерке и засыпает. В это время меняется стража на мосту, в это время просыпается красно-синяя бригада психов и бдит. В это время просыпаются на диванчике ординаторской врачи и закрываются навсегда Толмачи. Но никого не везут к ним в больницу, потому что нет больше ни больницы, ни ординаторской, нет ни зиккурата в овраге, ни метро до Москвы, ни летного поля, откуда сверток в комнаты, где сидит второй сын Германа, откуда уводят в другие приемные покои и боксы, нет никакой документации, ни исписанных, измалеванных гражданами мира паспортов, нет ни фиолетовых дверей, в которых нас убили со столетней бабушкой, нет леска́ над железной дорогой, по которому светлая тропка вела в чащу мороза и солнца и где убили во сне нас с Пабло, нет ничего, кроме кодекса УГРО и забытых версий, которые снятся оперу Кшыштофу, и есть только последнее бесконечное бдение тех, кто проспал свой последний час.

P. S. Сквозная щербинка

М. Г.

Просквозило, поспала с открытыми глазами.
(Черногорская пословица)

Шофер автобуса указал перстом на стойку автомата по продаже билета и смылся с чемоданом. Догонять его пришлось на задворках вокзала, но уже в другом городе. Он ведь ездил по кругу на станции возле поилки кофейного автомата. В захолустье надвигалась пустынная буря, вокруг ходили желтые карабинеры в шарфах. Дорога начиналась так: выпрыгнув из окна и оставив отпечатки пальцев в глубокой и окаменевшей кирпичной балконной пыли, она вскочила из гроба и обернулась своей дочерью, такой похожей теперь. Метнувшись в метро и возникнув, с испугом поцеловала. Скоро подбежали еще несколько пав, и все направились медленным шагом вдоль по тополевым улицам к театру Красной армии — Богини троечной Ирис. Шагали в теплыни и тенях к скверику, где привалившийся к забору Веничка зажимал руками чемодан. Он верно направил пути стрелок для спурта и опоздания на рейс. А чемодан с шофером остались за кордоном в полной недосягаемости.

Он прыгнул в окно кинотеатра с велосипеда и оказался в фойе. Филармонические старушки и с ними одна

молодая сразу все поняли, но спросили на всякий случай: «Где билет и где вы сидите». Он ответил, что «сейчас заберет, потерял в туалете», где женщины ссали стоя в большие ящики. «Быстрее, быстрей проходите», — попросили его билетерши. На сцене шел фильм о том, как мать собирала сына в школу, одевая его в рукодельный костюм, и как все смеялись над ним, будущим отцом и мужем. Эта семейная история подробно была пересказана в фильме о старом времени. Конец ее оказался простым: бабушка завещала приз лотереи двум братьям, а потом спрятала его в книгу старого фамильного шкафа и забыла. Через десять лет после ее смерти, уже на краю раздела имущества, деньги забрал старший брат, а младший, тот, что в рукодельном старомодном свитере, сделался шулером. Он и прыгал в окошко кинозала и затем вышел вон по подземному переходу.

Однажды он обмотал полотенцем свое смуглое робкое тело и надел белую рубашку, и качался в ней, совершая жесты египетской мумии, перенося туфли, надетые на руки, из одной комнаты в другую. Затем спал, как ребенок, в черных одеждах, окутанный белой простыней. Прострельный взгляд фанатика заставлял его истово орудовать в старой деревенской церкви фотоаппаратом немецкой марки и затем на приеме у майора.

В австрийской имперской конюшне цвели портьеры штор на курортных водах. Росли медунки, и на

горах горели платья словенок. Быстрые и спокойные радостные глаза открывали дороги в стемневшие ночи. Цвели травницкие цветы, грелись на солнце и не вяли. На высокой горе у надгробия зажгли негасимые факелы на пустотелых борщевиках: летало пение и тарелочки со свечами гасли у церкви высокой, и неслись жалобы ламии, отощавшей от голода, в цветном платье. Народ стоял вокруг и подмахивал перстами вверх. Розы благоухали на могильном камне со строгим ошейником. Высокие тени и лунные светы наполняли синие сумерки южной ночи балканским весельем. В медленном автобусе по извилистой дороге он засыпал и просыпался, пока не заснул и не проснулся. Мотоциклист с чемоданом уехал под вечер в полную неизвестность.

Он стал играть на скачках, проснувшись среди ночи, в стойле у коня отвалилось копыто и пролетело мимо его головы, как хоккейная шайба.

Когда он вышел на улицу с постоялого двора, там его уже ждали. Проход с задней стороны дома был заблокирован, и поэтому он провалился сквозь землю, обнаружив погоню уже на верху горы, она проскочила вперед него, а он пошел через лес. На вторые сутки он вышел к третьему городу, где его уже ждал чемодан.

В зеленом тополевом краю, где остановились времена года, керосинили американского ребенка, кото-

рый сидел с двумя старыми нюхачами, а затем поехал на «школьнике» прямо через улицу. Ребенок кричал: все под контролем, — и выдвигал требования безопасности. Детская яростная радость, перенятая от матери, залоченная на английский замок. На голове сквозь комариную марлю неслось лицо его, не понимающего ничего о том, что двое взрослых, Олень и Лось, ведут его через опасную территорию зоосада мотоциклистов. За работу сопровождения и вспомоществования Лось дал Оленю велосипед покататься. Олень тут же понесся и тотчас грабанулся: машина в одну сторону, велосипед в другую, а сам Олень в третью. Велосипед сломался. Тогда Лось сказал Оленю: отремонтируй его и заплати моему знакомому монтеру десять тысяч. Которых у Оленя не было и поэтому его отправили в суд.

Как-то раз встретились два немца со сломанными пальцами, только один из них надевал чулок на длинную ногу, а второй подрался. При следующей встрече первый сломал опять палец на ноге, а второй вновь запер себя на балконе.

Я уже давно не боялся, что кто-то скажет, что похож на своего отца. Я уже это знал от мамы, каждую неделю слышал. С ней же сравнивали реже и все больше чужие. Этого долго не происходило, и я уже забыл думать об этом и даже уехал в другой город. Вернулся

я уже, когда мама перестала узнавать меня, она называла меня другими женскими именами, и говорила делать три разных дела в одну секунду, и повторяла заново каждую минуту одну и ту же фразу: «Принеси чаю, вымой пол и выброси мусор», — одновременно. Потом она совсем отключалась от этого и занималась только делами кооператива, в котором порубили все дерева во дворе, залили асфальтом дорожки, выкорчевали также все старые скамейки. Это было в тот год, когда город решил стереть, отрубить половину своего прошлого. Все стали готовиться к зимним холодам уже летом и были правы, потому что в один день прорвало дамбу, лопнули все трубы, погас свет и исчезли лекарства. Старики остались в голодных квартирах, а молодежь превратилась в мародеров, мордоворотов, бегающих с топорами по лавкам и высаживающих двери и стекла. Стали трахать трупы. Как раз накануне этого дня были похороны, кто-то сказал: ты так похож на свою мать. Я плюнул в пол на поминках, забрал своих и вышел вон. На следующий день прорвало дамбу или что-то произошло еще, я не помню уже точных дат, потому что после этого дня перестали начинаться сутки. Точнее, они укладывались в минуты на остановке в часах круглогодичного дня.

До этого был еще один день, впервые с 1990-го года мы с мамой пошли в кино, как и двадцать лет на-

зад, была гроза, и тени прошлого ласково лизали нам ноги. Оказывается, что до сих пор где-то снимаются хорошие фильмы. Он так похож на Антона, так похож на Пашу, говорила мама, когда сын вытаскивал неходячего отца из горящего дома, обмотавшись в мокрое клетчатое одеяло. Они выплыли на резиновой лодке из-за угла через пять минут после пребывания в плавящихся витринах шкафов и падающих балках. Мы так плакали, плакали, плакали.

Они побежали под проливным дождем к австрийскому посольству, чтобы успеть на автобус с другой стороны здания. Первый прорвался, а второго тормознули. В результате первый уехал с вещами другого в нужном направлении, а судьба второго осталась неизвестна.

Вампиры плясали на квадратной сцене с двойной лестницей, пока била молнией гроза, перебегая от столба к столбу. В возникшей перестрелке он перестрелял их всех, и возвращался по конской земле в упавшем тумане под синими фонарями, и ушел так, что никто его потом не нашел.

В башне винтовой лестницы, ведущей на тридцатый этаж, где прежде был бордель карлиц, он потупился по всем ступенькам и увидел литаврическую страну, со всех сторон окруженную горами, на которых стояли церкви для отражения нападения осман и совершения литаний. А по ночам зимней порой по тропам выша-

гивали куренты, и били в февральский колокольчик, а у кукольного театра светились тени зари, кулис, женских румян. Звучали страшные и манящие рассказы о том, какие духи живут здесь среди этих людей и что на самом деле было в Сараево.

После этого фрателли д'Италиа поволокли его к самолету, в котором толпились одни уже добрые хомяки, и вздумывались подступавшие сумерки рассвета, и рожа его была измазанная в красной солнечной каше и стекленела глазами под бдение сонного летучего тарантаса.

И тогда он взял чемодан, изрыгнул в метро вожатая, который остался за дверьми, усмехнулся в чапаевские усы и поехал из другого города на самом медленном в мире поезде чух-чух-чух по задворкам Италии.

< РАССКАЗ-ЧЕРНОВИК >

Рассказ

Коле столько надарили! Он даже пожадничал, что ждал подарков поважнее. Подарили ему многое, и он много ел. В другой раз он скорее бы к подаркам побежал, будто вздумал торт прыглотить или хотя б вздуть, и побежал скорее на подарки нападать.

В гости ему меньше нравилось ходить, но когда были приглашенные, он всегда узнавал заранее, стараясь угадать, кто, еще перед входом гостя.

Однажды мама с папой были в гостях, но они подолгу не задерживались, оставаться — пугало Костю, просто постороннего не могло быть тогда: или придет — мама, или выйдет — дядька, дяхан. Мама и папа вернулись, дядька вышел. В другой раз мама быстро вошла и сказала: «Мы пойдем с папой и с тобой».

Ну, всего не упомнишь, поэтому здесь мы не скажем фамилии семьи, кого они пошли навестить, а скажем лучше так: попал Костя однажды мальчиком в гости. А там что-то произошло, все были как настеганные, все время были передвигаемы вещи: переставлялась посуда, звучала мебель, голоса то включались в настойчивом разговоре, то как бы выключались.

Обстановки квартиры он не запомнил из-за суматохи. Только он взял штору за край, только взял што-

рой и качнул, дождь, конечно, как на уровне груди по-отражалось в серванте с улицы что-то, или он открыл на окне стоящие вереницей бутылки из-под варенца, это он уверенно может вспомнить, дополнительно же стоит добавить, что сделалось прохладно-проветрено. Он был в кофте, поэтому только повел плечом, но что-нибудь захотелось тогда взять в руки, и он увидел над сервантом, увидал тарелку с конфетами, напоминавшими погремушки-ромбы, и кусок хлеба блеклый, и ему почему-то показалось, что трудно этот кусок укусить; тут ему захотелось понемногу похватать конфет или взять конфету, понятно, он потянулся за ней, и будто развязать упрямый узелок, ему удалось ее достать, отнять, но вдруг он захотел ее снова завернуть, вернее, не захотел проглотить, необходимо было обратить внимание, чтобы увидеть возле тарелки фотографию на высоком шкафу.

Там был какой-то сфотан пожилой человек на койке, причем казалось, что кой-какой человек фотокарточку не поставил, а подложил. Но Костя сел на корточки и спрятал фантик под шкаф. И на фотокарточке показалась не человек, а башенка, Костя притворился, что приотворяет форточку.

Но к пианино подошел второй мальчик, пониже. И на черном твердом блестящем боку пианино попадал и потолок, и из-под кровати (так что и пол казал-

ся полированным). И второй мальчик, Коля, сказал, что необходимо про конфеты помолчать, или: «Давай возьмем вторую конфету». — «Нет — две, тогда родители заметят», — сказал Костя ему (ему-то не очень было охота, чтобы и Коля потребовал конфеты). Обвертки через форточку бросить было некуда, некогда, потому что надо прятать (можно еще перепутать, у кого какая), и кивком головы Костя подтвердил, что не даст конфету Коле, тогда какой-то из мальчиков съел и вытащил конфету с тарелки, а зеркало не закрывал шкаф.

К мальчикам вошел какой-то незнакомый человек и сказал, что они стоят, как будто простудились, и вот-вот кашлянут, какой-то из мальчиков не узнал гостя, а Костя и вдруг перепугался, он-то вообще никогда этого незнакомого человека не знал (к посторонним надо обращаться поосторожней), и Коля куда-то девался, кажется, его домой забрали. А гость вдруг сказал рядом (так что Костя отскочил и от пианино с тарелкой, и от шкафа), что: «Кто лишил меня последнего пайка, украл у покойника пищу, печенье и конфеты», — и ощупывал рукой тарелку. И, кажется, неожиданно, Коля про печенье ничего не знал, а гостя же Коля не мог узнать, а гость Костю и вообще никогда-никогда прежде не знал и не догадывался, как надеялся, не дыша, Костя, сопоставить фантики, плохо заметные под шкафом (но на пианино!) гость с Костей

не мог, а Костя ему ничего не выдал, только сказал что-то и зашел за штору. Немного оглянулся — гость в зеленом сюртуке потемнел, только орден, если присмотреться, гость вон на стуле. Костя скорей за штору, еще раз выглянул, видит, тот хочет привстануть, чтобы подойти, как к прилавку, к подоконнику. Костя стоит, завернулся и глаза зажмурил, но не опустил (ему, он вспомнил, тогда еще показалось, что к нему с другого бока подходит продавщица), хотел к стене прижаться, хотел еще выглянуть, но не смог. Тут прибежали родители со словами: «Пойдем домой, теперь поздно», — и включили свет, и они прошли под абажуром. И он пошел с ними домой, и дома спрятался.

Мануэль Руй Кошта, или Рука, указующая берег

Кате К.

Когда мы наблюдаем за фигуркой Руя Кошты, ее перемещениями поперек телеэкрана, ее остановками, совершаемыми ею пассами, мы подпадаем под впечатление, что настоящий Кошта, превосходящий свое изображение в десятки раз, может есть и пить и умеет разговаривать, и даже то, что на него показывают на улице пальцем, когда узнают, — не более чем совпадение.

Мы не будем вторгаться в частную жизнь мальчика, который бегает по печальным тропинкам тайного леса, так же, как нас не интересуют ни его цыганские предки, ни количество пыли и табака, которое разжевали их железные зубы на пути от одной деревни к другой после землетрясения 1755 года.

Тайная жизнь телезвезды влечет к себе и манит, нам чудятся комнаты, полные порока, где нам хочется пересчитать все звезды на любимом теле, либо кельи аскета, святого, каждое кровяное тельце которого будет поглощено вожделеющей толпой, будет принято как помазание. На самом деле жизнь героя скучна, и нам кажется, что она повторяет нашу один в один.

Во время кризиса перепроизводства такие продукты, как пшеница, молоко, мясо, подвергаются уничтожению, даже если в стране царит голод. Возможно, будет гнить и кожа футбольных мячей, и мухи будут блестеть в язвах своими зелеными туловищами, и только их личинки будут слышать мерный стук ударов оземь, нежный треск лопающихся перепонок.

В век машин, когда и швее трудно уколоть палец, каждый игрок, выходящий в поле, пытается еще раз воспроизвести и повторить одно и то же движение; и если игроков расставить на плоскости, мы получим сумму всех возможных движений, представленных в форме нервного тика. Уклончивое воспоминание, медлительное шествие Кошты, напротив, заставляют нас думать о тех временах, когда чистили спину быку и давали сена ослу, когда лошади медленно пили воду, когда день начинался криком петуха.

Когда Руй Кошта начинает свой бег вдоль центральной линии поля, недвусмысленно обнаруживая четыре стороны света или розу ветров, кажется, что Господне Око отдыхает на нем, а над его головой летит голубица. Кровь обегает сосуды за 26 секунд, Дух вездесущ, в отличие от них Руй Кошта — всего лишь обманщик, он начинает двоиться, как картинка в телевизорах пятидесятых годов.

Некоторые считают, что центром мирового и, так сказать, годичного футбольного круга является скрытый пас, позволяющий оценить наклон центральной оси матча, подобно отклонению пламени спички. Говорят, что если и сейчас приложить ухо к футбольному полю, то можно услышать свист косы.

На самом деле в форме скрытого паса нам предстает видимость, или оптический обман. Руй Кошта здесь подобен фокуснику, у которого яблоко превращается в платок, платок — в кролика, а кролик исчезает в шляпе. Костюм фокусника устроен по принципу сообщающихся сосудов. Под сердцем, в жилетном кармане — часы на цепочке. Это воображаемое место всех превращений: там курица превращается в рака, лев в вола, М в Ж, а обезьяна в крокодила.

Прекрасно устроен глаз: в нем есть сетчатка, радужка и роговица, есть в нем и зрительная мышца. Ужасна слепота.

Когда мяч отделяется от ноги Кошты, для вратаря наступает временное ослепление, вроде солнечного затмения, и тогда он слышит смех богов. Говорят, что Руй Кошта нанес солнечный удар. Словно это не мяч попадает в ворота, а кто-то сетью ночью ловит в пруду луну.

Говорят, что он учился играть по полетам птиц. Луч света не проникает в ту точку воздуха, на которую Руй Кошта ему укажет. Недаром его зовут Мануэль.

Говорят также, что когда-то у него был брат. По слухам, в братьях Руя Кошты ходил сам Архангел Гавриил.

Руй Кошта может споткнуться, обронить мяч, оставить его позади, тогда он подбирает его невидимым хвостом. Те, кто хотели видеть поражение Флоренции, знали, что для этого нужны три вещи: чтобы нос Тольдо превратился в розу, чтобы Ахиллес обогнал Батистуту и чтобы Рую Коште наступили на хвост.

Остров зрелищ

Если бы телевидение могло показать нам жизнь потустороннего мира! Сегодня, мне кажется, оно приблизилось к этому. Пока оно способно показать лишь одну Америку, но сквозь нее уже начинает просвечивать тот свет. Ведь когда кто-то умирает, говорят о нем, что он уехал в Америку. А Америка — это прежде всего острова зрелищ.

На экране нам видится огромное колесо обозрения, при переключении программ мы видим каждый раз новую его часть, новую часть континента. Оно как будто останавливается во взгляде, как будто все время замедляет ход.

Моя комната легко освещается сквозным сочащимся светом телевизора. Излучаемые образы, как при параллельном переносе, заселяют всю комнату. Фигурка Дон-Кихота, читающего книгу, пока недвижима, но Самсон, похоже, устал держать раскрытой пасть льва и сейчас отпустит руки. Пепельница-сфинкс начинает курить. Гимнастка, в руке которой замер белый фарфоровый мяч, отбрасывает на стену свою тень — и она приобретает форму распятия.

На вещах осталось столько отпечатков пальцев, они чуть-чуть поблескивают, как подточенный карандаш. Сколько движений, балансирующих, как на канате,

сколько рассечений воздуха, совершенных когда-то, сотрясают воздух. В скрипе дверей, в топотанье ходиков нам чудятся покойники. Телевизор скуп, в нем можно увидеть меньше, чем в отражении от собственного ногтя.

Но мы прильнули к экрану, мы в него впились, или он впился в нас, подчиняя своей властной логике. Мы надеемся обрести своего потерянного близнеца-брата, но он предстает нам в образе чернокожего негра, вытягивающего вперед свои розовые ладони. Мы хотим слиться с ним, совпасть во всем, стирая печать своих собственных черт, мы хотим быть им, атлетом, героем. Но мы всегда отстаем от него на шаг. Подобен красивому животному он на беговой дорожке, мускулистой тенью движется он на ринге, стучит круглым мячом о площадку. Он повторяет нашу жизнь, под звуки говорящего диктора, пытающегося нас отвлечь от немого созерцания. Мы хотим узнать себя в этом негре, но не можем узнать.

Сквозь фигурку пляшущего негра начинает мигать маленький человечек, нервный, точно стеклянный. Он проникает в нас, он вылетает, как птичка, и вновь возвращается к нам через хрусталик. Он словно кивает нам головой, подает приветный знак.

Мы все хотим знать о смерти и потому обращаемся к телевидению. Но по телевидению нам показы-

вают одну лишь Америку. А Америка победила смерть. О ней не говорят, ее не показывают, ее забывают, о ней не вспоминают. Смерть изгнана из Америки. Покойника там одевают в дорогой костюм и усаживают за стол, и он говорит всем своим видом: смерти нет.

И, словно намек на это, нам показывают вместо смерти зрелище казни. Мы видим человека, приговоренного к электрическому стулу. Он движется как-то нездешне, его часы сочтены, и мы присоединяемся к тому, кто считает. Мы видим черные тела шахидок в креслах «Норд-Оста», похожие на мешки, повторенные многократно. Мы видим многочасовые похороны азербайджанского царя. Мы видим куски человечьего мяса, над которым глумится толпа, оскверняющая трупы американцев. Телевизор приучил нас к кормлению, мы понарошку съедаем реальные трупы событий.

Изредка мы встречаем на улицах тех, кто когда-то попал в телевизор: популярного телеведущего, министра, певца. Мы взираем на них как на выходцев с того света, нас поражает их плотскость, их вид в натуральную величину.

Кажется, что телевидение показывает нам некое протяженное многообразие, некое тело, данное глазу в ряду мгновенных вспышек. И, данное раз, оно становится нашим, без него уже нельзя. Таким образом, мы едем в Америку в своем зрении.

Вот почему так трудно засыпать в детстве без «спят усталые игрушки». Вот почему так пугают пронзительные гудки и немигающая надпись «не забудьте выключить телевизор».

Пока мы в поле зрения ящика-соглядатая, то забываем о смерти. Есть мало картин, заставляющих дрожать от радости сердце, картин, где умещается вся Америка, где перед нами ее не раскладывают по частям, как карты. И мы готовы забыть обо всем, онеметь, когда бесконечно выплывают на экран дымы Манхэттена в ослепительных солнечных лучах, когда две фигурки белых самолетов атакуют две высокие башни.

Пабло Рамирес

1.

Окно комнаты красным горело, панорамной лампой, ее панамой, ртом до ушей, загораживалось красным клетчатым одеялом, образуя четыре стены, из-под которых были только босые пятки в восточных туфлях, сверкавших, а вот встал на руках, обул пирожки туфель, и из-под занавеси мигнул, выгибая шею, и чашки синие с каймой золотой расставил на брыкающийся стол, водрузив самовар, в котором, пальцем проткнув одеяльные стенки, привиделось восемь веселых рожиц, улетающих с паром в рукав человека, который поднял лампу и саквояж, развел там рыбок и птичек.

Человеком: исусиком, который на книжных рядах пошел с саквояжем, клеткой, кудесником добра, и которого чудесно ты обобрал — отворил одну полу шкафа-пальто, там рука и гологрудая часть, там подтек под ребром, запахнул полу шкафа-пальто, шинелки солдатской, пробужденовкой-антоновкой, показал снова грудь — там наколка, которую пошевелишь — задвигается, мигнет, опрокинулся, в проталину проруби — это след второй ноги, деревяшкой, клетку поставил, лампа бессонная — забинтована голова.

А в квартире сидеть — на лестнице слуха, шаги поднимались — насупленный ромовой бабой нес туесок,

там грибы да ягоды, да товары из хозмага, одолевая со вздохом повороты лестницы, четыре, пять пролетов — остановился, да зачем же в столь солнечный день, нагруженный китель, сапоги, галифе. Поднялся, рукой сковырнув корнеры лестниц, по которым катиться легко, скруглил, скрутил горло звонка.

А дверь-то, дверь горчичником прыгала из угла в угол двухэтажной глухой стены, вот стоишь в том пятне двери и выплываешь на ночном плоту квартиры, ночью плаваешь, морем шагаешь, а тут отворили — увидел, сидит на шкафу, сложенный вдвое аршин, который в горло до пояса, съеден, проглочен, читает, скорчившись во всех углах, испуганный в ужасе, — да, пришел к тебе гость, книжкой лицо закрыл.

Это сам ты пришел, пока поднимался коньячной флягой вдоль лестниц осенних, деревьев совсем незнакомых, с вокзала приехал в любимый город свой, налегая на слово «здравствуй», приветным прощанием, да, ты поприветствовал, попрощался, то есть уже с жизнью, думал — не вернешься из далекого края, ан нет — на петлях пальто ходит, и плечи торчат, голова в кепке — пошитой на главной фабрике, где не только кепки, все головы шьют.

В такой кепоне вернулся, не понял, с Японии что ли, с Сахалина, откуда гонят машины. Но вроде точно ты, а прощай — потому что никто не встретил, ни Нина

твоя, верная была, почем знаешь, ничего не узнаешь, по радио не передадут — или это соседки на лестнице судачат, по щеке дают такого друг другу леща, что спросонья на звонок «кто там?» мальчик белобрысый, бритый наголо детик твой не узнает, «папа, папа» не закричит, и тут дверь растворяется, и, как сахар в стакане, такой луковый горе-взгляд, папка, папка, а мама на даче, поехала в сад, мальчик чужой сказал.

Бросил свой чемодан в коридоре коммуналки и поехал автобусом за город, а там Нина выходит на двор за водой из колодца и видит: четыре фигуры приближаются, выронила ведра, все поняла твоя Нина про своего сына, не вернулся он с нами, везут его грузовиками, оглянулся на плоту, когда бухтовал уже его у ракитового куста, кто-то окликнул, река унесла, выбросила налитого водой на отмель, такого везут, с ножами и факелами на дорогу выскочили, кололи и жгли покрышки, вези — отказался, вези — тут человек ведь, человек умер, везут, привезли, сына мой, домой.

2.

Черный двор темнеется, на нем летняя травяная бахрома, светает, черный глухой заколоченный дом, будто сгоревший, а во дворе — яблонька. Там был, не помнишь, а где — там? У аэропорта или за виадуком, там деда твой, прадед,

в шахматы играет, а где? Солнечная опушка, меховой воротник, горячие пятки — сандалии жгут — идешь, в гудрон наступил, лесок — в лесочке пруд, болотце, ряска на нем, нет, не там, в другом доме. Там — Нина Андриановна, тоже бабушка, к аэропорту — там ровное поле, черные дома, промоченные всеми дождями, там чай в котле, а теперь зима, груженые сани, и нету уже никого, ни деда, ни Нины Андриановны, нету. Только самолеты белые, а где?

А там двор, колодец, полдома, завтра Рождество. Вышел на двор, вернулся в дом, упал, китель моль как съела, не прощу вам китель, скорая приехала — так и остался стоять у ветлы, у колодца, потом поехали Герши, тети Ира и Таня, и у нас тоже — Ира и Таня, врач-лекарь сказал, все нормально, скорая уехала. Потом подушки — красная и черная, — на них ордена, а где ордена — трехлетний ползает по квартире, перекладывает ордена, теперь нет орденов, попрятал в дальние ящики, а подушки — такие маленькие — на них бы поспать. Не прощу ордена, не прощу врача, черная ветла, а теперь отведали помела в сетке, и сегодня опять плач в дому стоит, кромешный, Ира и Таня, а той Иры — нет, 9 мая, когда ходим, увезли, сожгли. А сегодня плач и вой, воздушной тревогой воют, так и остался у колодца, столбом воздуха, истуканом, куда глаза глядят, беги, а останется только бахрома, ветла, летняя трава, жаркая печь.

Баюкала в жаркой печи на полатях, обезножел, влез на сосенку, покатайся, поваляйся, косточек наевшись, а когда б в грязи не повалялся, несъеденный, на поправку пошел, солнышко, парк. В парке пух летает, едим мороженое, пух летает тополиный, как будто млечный путь, и в каждой пушинке жизнь великанская, только теперь выше на две головы уже, и водит тебя голя. Но это летом, когда с этим пухом, горящим вокруг головы, в огненных скафандрах младенцы с иконы смелые — а тот убежал, отряд младенцев, бритых наголо, с нимбами — в безвоздушной камере. Но это летом, когда доламываешь костяшками костяшки слоновые фортепиано расстроенного и играешь, и дождь пошел, потемнело, а теперь помело, куда полетела.

То летом — а сейчас зима, и елка в том парке, где пух, где летал на жгутах, как игрушка-акробат, и все под елочкой из ста елок — не елок, а метел, на которых взвиваются ракетницы, на косточках поваляйся — там раньше могильные камни и театр музыкальной комедии. Убита — и тут же знакомые все звонят, занятия отменяют. А ты ее знал? Нет, не знал, нет, не знал, но все-таки живо интересует. Случай вспомнить. С начала года прямо, а то под конец года свезут в домик, там живут, глядишь, только в окнах не видно никого, а так — тазы, сапоги, кастрюли, ложки составлены, на скате горы, под-

нимайся, встреть мужика по дороге, который все добро охраняет до вечного возвращения, огромный обрыв, поднимайся босой, а дальше мусор гниет, колодец калейдоскопный, там стеклышки разноцветны, поднялся, туда — к дому, черному, как дедушкин сон, калоши вернуть. Пришел там, где трава загоравшая, жгучая, там, где тетя Ира и Нина Андриановна, там, только как это, что это, где это?

3·

Морем шагаем, корабль утоп, плавали в воде ледяной шесть часов, потом рассказываем каждый год, сам дом возвел четырехэтажный, деревянный, и театр построил, пряничный, ходили — все поют, поют водевили, всех актеров знают. Каждый день в этом парке ходит, а теперь как пойдешь, где убита под елкой знакомая? Поешь, поешь, потом поешь, да, дни короткие, по пояс шестичасовой в воде морской плавали, тень суток, ноги их под водой, а голова и плечи торчат, приплыли наши моряки — забрали, вышли, вынули из воды.

Потом каждый год рассказываем, за рулем на картошку на «жигулях», гонит, гонит, лихач, скорость уважает. Все сам, и сына прогнал, он сначала торчал, потом воровал, как открылся — тоже машинами занялся — в Находке, где морем ходим. А вот «жигули» поставил

сталинского дома во двор — где отрадно, тополи, лавры, там гараж деревянный и выход есть черный, а есть парадный.

На полу — целая фреска, орнамент, и ходишь по этим полам, а на кухне — на табуретке трехногой сидишь, и шкаф трехдверный, а там — спички в специальных кармашках, да и весна — листики только пробились, 9 мая — каждый год рассказываем про майское наше деревце, как под елочкой сидим. Только вот ударил мороз, опять Рождество — сам полез в погреб глубокий, сорок мешков перекидал там, вылез грозный, да так на пороге упал.

Собака Бимка, что сам по автобусам, по троллейбусам катался через мост, пропал, затосковал. И стряпня у жены Нины-верной не вышла в тот день, а ведь какая была мастерица, Степка-растрепка, Степан Некефи́рович, вот как — портрет на стене, морем шагаем, ходим в море по пояс, тенями морскими деревьев по дну, только солнце высоко когда, вода зеркальная и видишь в ней перевернутый лес, перевернутый дом, отражение нашей земли, а нырнешь под воду, удушьем хлебнешь, все отражения суток долговязых твоих увидишь как зашагают, выйдут из воды на жаркий песок и пойдут продолговатые, продолжаясь в днях живых, долгих, летних, вот так, заглянул под воду с закрытыми глазами, замечтался и видишь на дне — твой корабль утоп, и на том

кораблe — пусто, нет, выпарило вас, из погреба поднялся, и первый шаг — в рай сразу, упал только, тенью стал, что в погреб по пояс в землю, по горло в землю ушла, и скрыла голову земля.

Вот так и сегодня — Рождество, а ты омылся первыми днями, весь до последней прожилочки — нахлебавшись синей воды, и вновь выходят первые дни, сутки долговязые выстроились в неделю, в черных платках, причитать, хлопотать, женщинами умолять, утихомиривать тех, кто не вышел, утоп в сугробе, в воде ледяной, водяные сутки, и завтра опять в землю кладут, кто не дожил до первой недели года нового, прощание завтра, сегодня столбом тенью стоит в квартире пустой, страж у гроба, у врат — новопреставленной, вспомните ее молодой.

4.

Приехал равный, из равенства общества, друг твой, который еще навещал, приходил чаю попить. И сам поселился за речкой железной дороги, с мостами и видами на берег другой, где закатом красит песок в красную краску, где тени деревьев высоких стоят, а деревья, срубленные точно саблей, лежат. Черный дым, и одна за одной.

За железной дорогой, мясопуст наш, там стены задвижками, точно на сцене от ширм, и по ним, декора-

ции артистов-людей, шагают, шатаются, в троллейбусе едут, в автобусе едут, то в «пазе-лиазе», то в новом, из Могилева, Можайска, Саранска. Так вот актеры и зрители на соборную площадь вышли, в хламе халатов под гребенку одну стриженные, шапки долой, говорят — декорации то. А дорога, и парк, и деревня, и фабрика — движутся неподвижные, в великом рычажном, монтажном и ханжеском, на каждом квадрате убийство тая.

Убийства, что те замышляли, в давке карнавала 9 мая, каная канавы, сомкнуты черные головы ровного строя, и пушки палят в них мясные, когда закрывают всю улицу там, чтобы до первой крови, и кто-то срубил тополя, ремнями солдатскими на кулак намотав, приехали с Первомая, ракушки, другие школы и дерутся, и бьются изо всей мочи, а потом хоровод, артисты из Оперы выходят к народу, дрались и на подступах к той обороне, поют, Кострому зазывая, а что Кострома — тюрьма или смертушка, тех расцепив, с мясом пуговицы выдирая, театр Покровского, да, выходили, пока добегали, и крик за углом пропадал.

А там, за углом, где массовка-гуляние, вот пропасть вдруг разверзлась, и все, — разорвана карта, но нет, — на Фабричной и тополь у дома, а так обрубки деревьев, как перчатки без пальцев, туда мы ходили, квартиру там построил себе, и утра продленки, где там просыпал-

ся, где чай пил, где дети играли, ходили на кухню, где солнце направил, падало до обеда, там жил, но нет.

Как срубленной головы врачам не простить, и Зоя-жизнь, сначала в Риге, затем здесь, как окончание школы — никого к себе не пустил, лишь весь как будто и так из железа двужильного, прокатного стана листов, вобрал в себя и стража фигуру, и плакальщицы, что замертво падает, приседает и, руки расставив, взмахнув, гребет к тому берегу, как Смертник и как Бессмертник, охраняя, жарче мороза, с колотушкой и прочной костью — стоял у столба и читал объявление, в лужице крови очнулся и понял, что крови своей, пару слов, пару швов наложили, и дальше поехал в Похъелу, похлебку дневную из миски, рукомойник железный и печку остывшую, грел из дощечек тонкую хрупкую дачу и спал в ней в мороз.

Не вестник — не ангел, но угол сердца ко мне, в две минуты версту проскочив, являлся и говорил про равенства царство, пробивая себе целые недели вперед, как встретился с ангельским в белой рубахе постовым на перекрестке. Да, ты приходил, чаю попить и бальзаму, прокомментировать румынскую речь, поговорить о самом ничтожном или же самом первостепенном, бросая бумажные бомбочки, взрывы которых доносятся на том свете.

Думал и думал, пока параллельные две прямые шли вровень, два столбика термометра продолжались, и ты говорил, будет, будет, а потом. А потом жизнь кончится, говорил, и вот в воскресенье мы были, были, и вновь ты зашел попить чаю, а потом я уехал, и ты уехал тремя днями позже, и никто друг друга не провожал, и вот теперь надо свыкнуться с тем, что мысленно вместе, и как два поезда горизонтального лифта с черными дверями на Маяковской, мы проскочили платформу встреч, нашу основу, пустовавшую, где самый густонаселенный пассажиропоток.

5.

Покушайте кекс, сказала мама. Заминка. Почему нужно кушать. Вспомните тетю Галю. Какую тетю Галю? Вылетело из головы совершенно. Которой внучатым племянником приходился. И вся тоска дня продолжилась в имени, лютый ужас жизни, а в имени светлом, выведенном золотыми буковками. Десять лет прошло. Вспомните тетю Галю.

А день начинался с дремоты ночной — димедрол, дромоман, валерьянка, верблюд, что себе заказал крематорий и против которого восстали клиенты жеваться, жильцы, до-ре-ми похоронного дома, где тайная вечеря на сожженной плашке-табличке, туда мы ходили

и там говорили про парки, где светлого детства шаги, где черточки на асфальте, сквозь сон ветхой жизни, шубы Алдар-Косе, сквозь ветхую сарайку майских дней так проступили, дровишки для чайника, детской чертой, и видел все так, как тогда, как когда-то, лето и солнечная пыльца, что жгла лоб, так жглась утюжком и прохладой так обдала, напоминалка и примула, примус да газ, газа цветы.

Но это уже без оглядки бежать если — а было в ночь ждать репортажа первостатейного — и утром ночь продолжалась, и думалка-думочка, вся расшитая, рукав, уносящий в сон, пение, что ткут, и острых сомнений ласточка, сомлевшая комната — летучее тело, и совершенно безгрешным лицом просиявшим на солнце, в светлице, в столовой, заклеенной пленкой лесов, — только солнышко в окнах, рассказ, и ты говорил, а я слушал, как утро троллейбусное, лето и след, разбивающий лед, рассказ, о чем в двоящейся, вдруг выныривающем, не времени, нет — долголетии, рассказ, что я слышал, о чем и о ком, что я видел, Гемеры веселый заливистый смех веселого дня, прочитайте потом, откладывая книгу, — на ее зеркале будто бы два вихра, головы спящих детей, тише воды, ниже травы, книга — лети.

Ну вот, так ночь и солнце встает, и для нас значит ерунда, продолжал размышлять о болване и болванке, болтливой белошвейке голов, где не шапки, а головы

все — тень одной головы, — но столпились слова, как телята и как дошколята, о том, как бренчат колокольцы далекие где-то в горах, как шагали и мы, шагали на марше, на проводы людям, и эти шаги, то муравьишки, то гигантского шествия знамя, незнамо куда, и пижама видна, так вот думал поутру, дремля, все досматривая сон уносящих каникул.

И сорок вырванных тел, в одночасье, как взрыв, походку ускорив, часы, что зарезать хотят циферблат, где не руки — ножи этих стрелок, белого мяса упал двенадцатый час, косточки облизав, на которых валялась яга, плоть всплывающая, наплывающая, перебежкой теней, перерезало ножки, и время на двор выбегало с четырьмя пистолетами, да так и застыло пролетами, вспышками, бормоча неслышное невесть что, несусветное, батюшки-светы, и лающий, и убывающий, и уплывающий, сдавленный, обесславленный, в армии, варвары, гавани, гарпии, досады, надсадный, стакан, истукан, до сих пор.

Утро юрты

Юрта была не юрта, а деревяшка с куполом, под которым болталась веревка для бега по стенам. Азиаты были не азиаты, а индусы, рассказывающие о пьянстве и вывесившие медицинские иконы. На пороге встретила старуха в красной майке, подчеркивающей старую грудь, и длинной юбке до пят. У входа встречала добрая собака, ее мех был мокрый от холода. Мартовский снег проталил все тропинки. Лектор рассказывал истории, по кругу. Так продолжалось несколько раз, пока не спустились сумерки и ребенок не обнаружил вторую, мертвую собаку на снегу, похожую на первую, добрую, но окоченевшую.

Один все время смеялся, рассказывая анекдоты про публичный дом, в котором у бабки, привезенной из морга, пошла пена из ушей. Смех не был всеобщим, но подносили плиточный чай. Раздалось пение прямо из Непала. Все были добрые, дородные, лежали, ласкались и нежились в тепле. Свастика солнышка пригревала сквозь окна и крышу.

Белотелый и желанный юноша в белой майке читал про то, как падает снег и приходят бедствия, — он улыбался кривыми зубами, и его белизна сквозила даже сквозь джинсы. Он обнимал арликинессу в красном трико, которая пела молитвы и била по ступке пестом.

Ее лицо, прежде любимое, не выражало ничего, кроме хлипкого звука. Перед этим была прогулка по мосту, измазавшая в грязи ботинки, и брюки, и новую хипстерскую куртку. Тонкие пиалы льнули к губам, и красивые, отрешенные женщины танцевали руками и постигали Индию Каст.

Все это продолжалось, пока я не съел свой транк. Все это продолжалось, пока я не съел свой джанк. Дальше была бурятская водка, хрусталь витрин, ночь в городе. Штурм здания ГУВД отменили. Мне запретили все, кроме ночи в ночном городе. Под утро, выходя из пиццерии, я убил человека.

Марафон

«У меня марафон — сорок два дня», — поведал он, явившись вдруг с бородой, как у «что такое осень», а совсем не мальчиком, обижавшим сестер и крестных. Воспитанник глубинки, он привык видеть только счастливый песочек стекол по этажам, по витражам, по курилкам.

Раз он «утратил картину мира», очнувшись в подъезде с битой рожей и разбитыми очками и телефоном. Ребенок посоветовал ему вспомнить, «где я и кто я», обнаружив себя на компасе.

Таков был и его алкогольный марафон: «я буду пить триста дней». В один из этих трехсот дней — я тогда прыгал на костылях, а он зашел на балкон, лишь позже, в другие триста, он прыгнул с парашюта и сломал обе ноги, а тогда, когда девочки звали меня силифакером, он залез ко мне на балкон и увел оттуда с пьяных глаз тысячу общего времени.

Вот он сел на мой балкон и сидел там как сердитый насмешливый аист. И рассказал про поездку стопом в Питер с заездами к разным пьяным хлебосольным помещикам. Укутанный в клетчатое одеяло, сидел он в тамбуре и прятал подмышку кассеты — и никто не хотел связываться с «этим чучелом».

Да, тогда дорожки деревеньки были пятнистые с синими тенями и отсветами лампочек, да, тогда в марте мы ссали на снег, как солнечные собаки. Да, тогда много пузырилось и булькало медовое пиво, да, тогда, а теперь у него два сына, а на лбу жены вертикальная гребенка — морщина. Вот что я могу теперь промолчать на другом конце провода. Вывести наружу из другой двери его дни — гурьбой побегут затопления, глады и моры одни.

Краснорозый

Бомж с торчащей изо рта красной розой не появился в вашем окошке, потому что не было у вас окошек. Вместо того туда явился тот, который его подослал. Еще вчера там затоптали кровавый платочек синего панка, ногами баяниста Стаханова, размахавшего его с руками на мягких ногах, как змею со сломанным позвоночником, притопывая фронтовые песенки. Ну что ж, выпьем, добрая дорожка, красная от пыли, в синем мыле, чарка выпита до дна. Здесь торгуют Верленом и Рембо, валерианой для профессора Макоши, остальным же замкадышам здесь делать нечего.

Ну так вот явится туда сам Рембо-Верлен, тонкий да с квадратной головой, да засмеет вас туберкулезным кашлем. То сядет в попутку, потаранит к замкадышам, на клинике Мешонкина выкинут его из левой машины, на Пироговке наплюют в глаза другие профессора, с которыми было целовался за шторами, а то выпадет из такси и начнет расшвыривать по лесу из кармана деньги. Потому что когда мне или ему окончательно надают пиздюлей, займется заря.

Ну так вот, в блядочке, где торгуют Верденом и Верленом, я вам как Дэвид Тьюлис с «Полного затмения» говорю, нарвался мой дружбан на вас, и никого

не было, чтобы его увести, где колен преломити. Наездные слова прозвучали — он и в сугробах книжки читал, и вообще кажный год получает по мордасам. Но вот нассал он на вашем крылечке — раскрасьте его лучше свиною свинчаткой — в подвале, где точно раньше кого-то расстреливали, а теперь собираются краснобаи. Вам, псам и свиньям мясным человечества, я и хочу передать привет конский и чемпионский, сказать, что и срать на вашем обоссанном Кожаном крылечке больше не сяду.

Переодевание и разоблачение

Мы тоже решили переодеться с Филиппом. Для начала переоделись в слонов: надели рукава крытых пальто на нос и расхаживали. Потом приодели лысого Евгения Мударрисовича: надели ему на голову цветную тряпочку. А потом переоделись в старшего товарища. Сели друг другу на спины, застегнулись и пошли в школу, мы тогда еще в школе учились.

Идем по школе и со всеми здороваемся, а они нас не узнают переодетыми и принимают за нашего товарища. И только один учитель, трудовик, что жил при школе вместе с уборщицей в отдельных помещениях, да физрук дядя Петя, который спортивные марши тридцатых включает и иногда с учениками дерется, собрались и как закричат каждый: я ВИЖУ. И мы распадаемся пополам, и нечем прикрыться от стыда и побоев. Теперь мы полностью изобличены.

Так и говорит нам старший товарищ: как не прикладывай хуй к носу, все равно я буду с кухарками и няньками царствовать, а вы будете золотарями работать.

Жути помирай

Знамена мая — есть такие стихи. Они о кульбитах пчел и разных духов воздуха, березовых серег, распускающихся на теле спящего под винными парами, сквозь которого пробиваются виноградные ломкие ветви. У того же спящего в других стихах две незаметные красные дыры в груди. Знамена мая, они же хоругви. Эти стихи написал Рэмбо, любимый поэт футболиста Эрика Кантона, как писал журналист газеты «Спорт-Экспресс».

Сейчас по улице проходит ночное шествие — люди возвращаются пешком до часу ночи, и теперь, слава богу, почти все добредают. В девяностые, когда перекрывали станцию «Площадь Ленина», там на каждом метре была чернота, как в пропасти. А в небе — триумфальные салюты.

С утра же народ заполняет кладбище, как будто красные звезды не высосали еще всю кровь мертвых из могил. Все равно нырнем в это подземное озеро. Пойдем по старым дворам, где ветхие лачужки, выброшенные печатные и швейные машинки, устаревшие, как серебряные ложки. Да и они уже стерты с лица земли. И песни конца восьмидесятых годов уже тоже, чем старее, тем хуже. Как будто бы их закопали в землю вместе с пластинками Коли Васина, гробиками стихов Пригова

и замшелыми кассетами Тома Вейтса, который, гад такой, их выкапывает. Полежать бы в земле лет так тридцать, а лучше пять, а еще лучше на пляже позагорать, посмотреть на сережки березовые да на пчелок косматых, сделанными голосами пропеть да поплясать с детворой на сцене Оперного театра, изображая Покрышкина в дрим-дансинге. Прочно забыть войну, чтобы вступить в новую лужу с говном. Шаг в сторону — и твое отражение в нужнике готово.

Вот и мы делаем этот шаг, так сказать, на недостроенный мост, мы поверили звездам: разжиревшее щачло жарит на баяне веселенькие военные марши, пьяный маленький панк, шатаясь кататонически, падая и глядя любящими мир глазами, называет щачло по имени, то есть щачлом. Щачло спрыгивает с ботинками и говорит: я хозяин жизни, ты мудак, мой дед воевал, ты его оскорбил. Оскорбленное щачло, некогда пиар-менеджер пешеходного перехода через Первомайку, любит своего дедушку. Дедушка плачет крокодильими слезами, пока топчут пьяную панковскую душонку.

Зато в городочке кончился День сурка. Что делать Артемке-то теперь, каких богородиц заказывать в наряде человека-паука художникам, что умеют рисовать. Черное знамя реет над первомайской демонстрацией, и стареющая молодежь, кенты, что летят, как черная ше-

луха сжаренного подсолнечника, белокровные нимфы из контакта, которые хотели, чтобы пожить хорошо для себя, оргазмируя с помощью клонирования, вытекают из глаза мертвой собаки, как масло из батареек. Теперь вынырнем из мертвого кровавого озера, осмотримся. Зиккурат сбылся в аккурат. Кровавые пятна домов смыты дождем сто лет назад. Декорации перелицованы, серьги летят березовые. И на камнях растут деревья. И камни возопиют, и надсмеются над нами.

Одинокая бродит гармонь, словно замерло все до рассвета. Французы эту песню переделали, о чем пел далекий друг Марка Бернеса Ив Монтан, помню, мы так все плакали над его последней ролью, уже в девяностые. Так вот в той песне поет одинокая гармонь, это я не тебе говорю, Сраное Щачло, а людям доброй воли: Нежный май не вернется никогда, он ушел, пока вы спали, унес ключи от этой военной истории, на небе голая жопа луны, в солнце свинец, а кто слушал, молодец: на лживых глазах заплаканный синий платочек, а на горле красное сечение. И две черные дыры в груди у спящего под ракитовым кустом, красный, црвене, жути, помирай.

Две сказки для детей Стенли

1. Карусель, карусель, унеси меня в постель

Девочек пошла домой, а завтра папа повел ее на колесо обозрения, чтобы покататься над стадионом и увидеть все верхушки домов в закатном солнце, после работы. Но девочек попросилась, чтоб везли ее на другой берег, там новое колесо открыли, на горке, там видно весь наш берег и последние башенки берега того, и само солнышко, закатывающееся по трем площадям до самого запада.

И поехали с папой, подошли к билетеру, купили билет и медленно-медленно пошли вверх, точно взбираясь на высокую гору. В семь часов аттракцион закрывается, сказал билетер. И вот видят они, как закатывается красное солнышко за голубой с белой полоской горизонт, и на солнце летит черный самолет, который белую начертил на темнеющем небе восьмерку. И медленно покатилось колесико с горки на речку, по речке без брызг, и затем по проспекту пустому покатилось, и докатилось прямо до их дома, глядь, а уже луна зажглась, круглая, как лампочка.

И медленно круглая площадка с креселькими докатывается до окон их квартиры на двенадцатом этаже, и передает девочка наружу растворенному окну, точно верблюжьими губами за хвостик маленькую обезьянку,

и кладет на постель. И наступает темнота. И поплыла тогда постель по комнате, и выплывает в коридор, а из папиной и маминой комнат выплывают постели, а на них мама и папа, и загораются луннитные лампочки, и темные воды коридора, да нет, десяти, двадцати, ста коридоров, и выплывают жители их дома по подземным коридорам, сидя на своих кроватях, и вот уже и из соседних домов выплывают люди на кроватях, и все коридоры сходятся в один просторный туннель и плывут к лунной дорожке.

И видит девочек, что солнышко за луну закатывается, и кажется ей, так быстро катается солнышко за луной, как круглые кружки из ее альбома, которые днем она раскрашивала и обводила, что горят три солнышка, желтое, зеленое и красное, и люди радуются.

Но начинает светать, и видит девочек, что море кончается и обрывается с шумом в большой водопад, и что все люди уносятся в него, и тут она просыпается, видя, как папа осторожно и бережно кладет ее в кроватку, а мама ей ласково улыбается, и думает, наверное, как папа нес ее такую большую уже на руках.

2. Сабо, носочки, фонарик и капельки

У большого глобуса стояли мальчик и девочка, протягивая руки к его перекидной дуге, которая, пролетев по меридианам, стирала и вновь рисовала матерички, океан-

чики, и вместо них рисовала ромбики, трапеции, прямые линии, дуги, что во все стороны расходились кругами.

— А давай-ка запрыгнем на эту дугу, — сказала девочка.

Сказано — сделано. Сидят они на ней, как на перекладинке, как на жердочке, и вдруг плавно сначала, а потом резко ввысь полетели они, так что замельтешили перед глазами падающие вниз деревьица, травиночки и муравьи на них, бензиновые лужицы и вот уже крыши башенок с зубчиками. И вот замер последний зубчик, казалось, он искрошится, но запнулась на нем дуга-перекладинка, а мальчик и девочка полетели дальше, пока не остановились в воздухе и задумались.

Вот задумались они, а внизу громоздится пропасть, а за ней еще одна пропасть, а под ней еще третья пропасть, и все синие, густые, как синяя ночь с ее звездочками. Но погасли звездочки, да не все, пошли мальчик и девочка по самому краешку этой пропасти, и с каждым шагом гасла одна звезда, точно сонная кувшинка или китайский фонарик. А когда погасли девять звездочек, с последней выскочила искорка и пережгла ниточку, и оборвалась ниточка, точно волосок лампочный, вспыхнула и погасла.

И полетели мальчик и девочка в первую пропасть, и была она темно-зеленого цвета, потому что рос-

ли там деревья, выставив свои острые верхушки, точно терновые шипы, которые могли запросто пронзить им пятки. Но мальчик достал из-за пазухи большие деревянные ботинки-сабо из самого прочного дерева, дал их девочке, и они сбили этими башмаками остроконечные верхушки злых деревьев.

И тогда полетели они во вторую пропасть, и была она металлического, ледяного цвета, потому что торчали там заледенелые льдины и камни, от прикосновения к которым так холодно становилось ногам, что они мигом отваливались и разбивались бы в брызги. Но мальчик достал бабушкины теплые шерстяные кусучие носочки, и они пообкусали льдины, а мальчику и девочку согрели ножки.

И полетели мальчик и девочка в третью пропасть, и была она пурпурного, огненного цвета, потому что жгла неостановимым горючим огнем, и могла сжечь их как спички. Но достал мальчик из кармана капельки, и одну капельку капнул в этот котел пламени, и утихло оно, и только один огонек все бегал и приплясывал, и показывал всем своим видом, что ни за что не погаснет. И взял мальчик этот огонек и посадил его в масляную лампу, что дал его отцу его дед, а отец передал ему. И осветил он этим огоньком все три высокие пропасти, и это был единственный источник света на дне этих про-

пастей. И на дне самом третьей, пурпурной пропасти он нашел дверцу, ведущую в погребок. И открыли мальчик и девочка дверцу в этот погребок, и пошли туда по лесенке. Лесенка шла все время вниз, а потом пошагала вверх, а вокруг были темнота и мрак, и иногда пролетала голова лошади в плаще летучей мыши, иногда раскрытая пасть крокодила, а иногда страшная химера с туловищем льва и головой павлина, но дети не испугались их и лезли до самого верха, потому что у них горел пурпурный пляшущий огонек в лампадке, а эти чудища видят только в кромешной тьме.

И вот наконец добрались они до верха лесенки, и она уперлась в потолок крыши, и там висел тяжелый большой замок на цепи. Но мальчик достал маленький ключик и открыл замок, и отворил дверцу, и увидели они свет божий, и вылезли из глобуса в том же месте, откуда начинали полет. И дяденьку — охранителя глобуса увидели, который строго на них посмотрел, но поскольку он был добрым музейным хранителем глобуса, то он взял их на руки и осторожно поставил на пол, и сказал им: а теперь бегом домой! И дома мальчик и девочка ничего не сказали своим родителям о том, что с ними случилось, и мне не велели говорить, так что и вы никому не рассказывайте!

Толстой-Американец

Проснулся ночью неизвестно в котором часу. Долго было темно. Мама, плясавшая вчера на костяной ноге, сегодня уехала. Головная боль. Отправился на почту и за цитрамоном. Старушка одна в очереди, интеллигентка с родинками, облепившими щеки, как рак кожи, и пучеглазые глаза, и лыбящая улыбка, обсудила с продавцом все сорта кофе. Обошел ее со всех сторон: говорите, что вам. Сразу же ушла, потеряв интерес. То же в очереди за пивом. Видна со спины другая женщина. Вот бы рухнулась, как Лизавета. Несколько мертвых мужичков по дороге на почту и на почте. Второй раз стойбище получасовое. Оказалось, нужно нажать дважды на какую-то кнопку. А там выбегают и уже знают по имени. Выход из царства шепчущих мертвяков на синий солнечный мороз. Раньше такие утра начинались в восемь. Сейчас одиннадцать. Вскарабкался на мамонт, угрелся и проветриваю. Не сон, не бдение — лежишь, пока сами по себе не побегут мечтания. Два раза. Потом второй подход, поел горяченького.

До вечера прикручивали новый и уже обоссанный везде Мусей линолеум. В две головы ругают и бесятся родительницы. Маленькая мама в ряде эпизодов бросается с маленькими кулачками.

Утром бегали по снегу с солнечным мячом. Вечером вспомнил, что подстриглась Кс. Вспомнил, как обривался под ноль машинкой сам, мама сказала, что есть примета, нельзя. Пустеющая голова, пустой колидор, лысое зрячее зеркало. Грустно вспоминать. Кс. — лицо молодое, а фото старое, как сорок лет назад у знакомой инженера, ученой, но точнее — врача. Кс. раскрывает смысл приметы: себе укорачивать жизнь. Понимание старой сцены с бритьем головы — заключенной теперь в банку-склянку Солнечного. Грусти и горести, рассольник и винегрет приготовила мама, едим под бравурные советские марши про товарищей Правду и Время. «Толкунова умерла», — неслышно говорит мама.

С утра же субботы перед пробуждением думал мысль про хозяйство. Хозяйством стала наша библиотека. Мысли были полны глубочайшим охватом и смыслом.

Тридцать первого ушел с номерком «пятнадцать» из татарского магазина «Счастье». С этим номерком скакал две недели. Потом решил, что не оштрафуют, и вернул. Пил кастрюльками глинтвейн, называл гордо «Пунш чаевинный», кастрюлями пил. Болел гриппом без температуры. Читал светлую книгу, трепетал над ней от лихорадки, потому что понял уже, что дотумкал, что время распадается и сезоны в один день умещаются.

Звали первую Светло, а вторую — Помело. На помеле на Рождество побывал у Януса. Мгновенно опьянел, высосав полторы вермута. Комнат стало двадцать, чайников, открыток, оранжевых, мной еще десять лет назад крашенных стен. Глупозавр заполз опять на шею. Стало неясно не только какое число, но и какой год. Так и распалось все, да так и осталось.

А перед этим поездка была — на светлое ясное море с тонкой Светло, про которую думал раньше, девушка или парень. Шахматами и сдвижкой доски напугал ее до тревоги, что солнце завтра не встанет, когда смерклось. Сам испугался и не пошел провожать.

Еще с Эммой встречался — маска, интересное лицо, обезьянка Чика и Жанна Моро, немножко взбалмошная, сумасшедшая. Томление знакомого, белизна на лице, как вспоминает о ней. Расставание стало таким: зачем-то позвала, угостила кофе, слушала скуку, зевая. А потом: отдала его книги и фильмы.

Знакомый шел по морозу и сжимал мышцы лица, разминая его. Взгляд прохожей упал на одну из гримас. «О боже мой», — сказала она. Вспоминали об этом, когда совершенно без удержу смеялись над постыдными подвигами Толстого-Американца.

Через выстрелы и взрывы

Как-то, въезжая в Москву на поезде с веселыми людьми и сам веселый, я услышал, что загорелся Патрис Лумумба, его общежитие, что недалеко от дома моего друга Пабло. Негры сгорели там, нужно объявить всеафриканский траур. За то время, пока меня не было, взорвали клуб «Кинто» — где у меня отобрали паспорт. В том здании была только одна квартира, в ней жила старушка с собакой. В день взрыва она ушла неизвестно куда, и больше ее никто не видел.

В городе, напротив часовни, которую считают географическим центром СССР, находится закрытый найт-клаб «Нефть». Там однажды мне довелось «наблюдать распад бесплотного символа», как писал один из журналистов газеты «Русский репортер». Это было 1-го мая, и в тот день сгорела наша дача и вообще большой участок земли.

Вскоре после этого я повстречал случайно одну барышню, которую очень часто случайно встречаю. Мне стало плохо, и он пошел в аптеку «36 и 6», напротив часовни.

Там же, в «Евросети», мы как-то раз купили Янусу первый мобильный телефон, а потом поехали 12 марта на день рождения к Каюге. Там была борьба на полу,

Каюга всех заборол, потом читали телеги. Это была последняя встреча новосибирского актива художников, где все сфотографировались.

А в недавний день рождения Каюги, позавчера, я встретил эту же барышню Л. совсем в другом месте, но она ехала как раз его поздравить. Через две минуты в двух шагах оттуда я встретил Юфу, который как-то раз попал в центр кадра на похоронах Егора. А после этого еще двух своих знакомых. Я был несколько запыхавшийся, поскольку объезжал территорию, размечая места для уборки снега, куда потом пошла техника.

Вскоре позвонил Пабло, который вышел в «Евросеть» за билетами. В переходе под часовней он разговаривал с еще одним другом нашим, Антоном. Обсуждали первый футбольный матч нашей городской команды с грозненским «Тереком». Еще через час аптека «36 и 6» была взорвана.

Мне кажется, что мы могли наблюдать чьи-то гигантские шаги. Чьи они? Не знаю. Кому-то надо взять на себя ответственность.

Всего этого могло бы и не произойти, если бы моя семья в полном составе не опоздала сорок лет назад на самолет, который упал и разбился по дороге в Нижний Тагил.

Струйка песочных часов

Наутро второго дня здесь я был разбужен скрежетом стройки. Сначала я подумал, что хотят строить большие песочные часы — но оказалось, что это детская площадка без загородок. Дети окружали меня толпой, маршируя в свой садик или первый класс, организованной толпой проходя на светофор, — желтые, синие, красные их одежды весело сверкали. Их улыбки словно были на пятернях листьев, что только начинали осыпаться.

Велосипедисты не отстают — с открытыми глазами и думая о своем, проносятся девушки, успевая следить за дорогой. Периодически разъезжают сирены пожарных и скорых, они спешат по вызовам, а иногда просто опаздывают на обед.

Тонкие негритянки откаблучивают ножкой, двигаясь мне навстречу. Человек, похожий на Эйсебио, умный и грустный, раскрывает газету в урочное для себя время в вагоне метро, возвращаясь с работы или стремясь на ночную смену.

Девушки мечтают в барах, показывая свою спящую красоту. На рыночках людно в вечерние часы, здесь пробуют вина, пряности и сласти. В зоологическом саду на центральной площади останавливается время, и звери нюхают ботинки прохожих.

На подъеме из подвала от черных мусорных баков постоянно натыкаюсь на деревянного идола колонны, которую можно принять за тень человека. На углах аскают мелочь, начиная со слов «kann ich fragen?». Сегодня это маленький старенький панк, он начинает издаля нараспев, а потом просто скребет себя пальцами.

Старики ходят парами в парке, женщина в плащике виснет на муже, как обнова, так что становится тесно. Они уходят к солнцу, забираясь на холм, усеянный листвой. Там же скатывается кувырком девочка, играя в воображаемую затею.

Возле магазина молодой человек с ирокезом в плаще начинает по-коровьи бренчать серьгами и кружками, гундося нелепый мотив. Вьетнамец, которого каждый день обнаруживаешь на выносном стульчике у кофеюшки, разговаривает сам с собой.

Коровы, пасущиеся на стене дома, топчут граффити Weltrevolution. Мужик в дождевике ведет такую же мокрую понурую собаку.

Статуи амурчиков держат на плечах щербатую рыбину. Дети повсюду, они населяют парки, улицы и площадки — где ползают по брусьям, таким, как обмытые морем коряги, соревнуясь каждый в своем лабиринте.

Солнце красит соседний дом в светлые тона. Над парком, где голые деревья чернеют ветвями, слышны

голоса. Они сходятся в одной точке верхней площадки, а потом глохнут в сумерках и разбредаются поодиночке.

В комнате, где я сижу, — на полах татарские ковры, джезвы и фонарики с орнаментом, а на стене шкатулка, на которой Распятый на футбольном круге.

Вчерашние газеты будут ждать прочтения десять лет. Кажется, что здесь и так прошло полжизни, так что время уже не покажется таким долгим.

Живые фигуры моих друзей с хороводом фонариков-кубышек прошествовали со мной по потемкам квартиры, по лестницам и площадям и уводят свое куражное шествие в новые комнаты, где зажгутся новые лампы и разобьются новые тарелки, заговорят новые голоса и растают старые морщины.

А пока еще неделю я буду спускаться по лестницам этого города и проходить мимо здания тюрьмы-водокачки, где кто-то расстрелял из пистолета стеклянную доску памяти жертв нацизма.

Покидая свое тело, как пожарище

Мой товарищ открыл недавно первую страницу «Яндекса» и увидел там новость — в Новосибирске горит дом. Прилагающееся фото что-то напомнило ему. Он посмотрел адрес и увидел, что горит дом, соседний с его родным домом. То есть к тому моменту, к утру, дом уже сгорел. А вечером молодые люди толпились на улице Октябрьской и снимали, смеясь, это пожарище на мобильные телефоны. Круто, ведь веселые загораются огоньки.

Если уложить все новосибирские пожары в один день, то красный «Яндекс» заискрился бы. Красный петух в течение месяца склевал автомобили, дома и храмы. Деревянный храм в микрорайоне «Ща» загорелся в ночь две недели назад. Злоумышленник, наверное, представлял себе пламя, пожирающее иконы, дым, валящий сквозь притвор, и Христа, «который с иконы бежал». Пожар потушили, и на следующий день в храме уже служили службу о спасении сего богоугодного заведения, притом не было даже «духа» гари. Новосибирские преступники-«иконоборцы» этим не ограничились — и зачем-то буквально через два дня зарезали церковного сторожа в Вознесенском соборе.

Пожар машин, зажженные свечи авто обступают своеобразной службой убийство школьницы — удолбан-

ный мотоциклист сбил девушку на зеленом сигнале — похоронная процессия охватила весь Академгородок. Поджоги автомобилей, подобные летним московским и давешним парижским, дают во времени яндексова Дня сурка настоящее факельное шествие по сбитым пешеходам.

Веселые огоньки загораются и в глазах новосибирских авангардистов. Александр Вапилов, известный также как Фанат Егора Летова, показал в открытой галерее «Уайт Куб» свои аудио-клипы — страдания на тему подражания Христу, погибающему в пламени. Организаторы «Уайт Куб» приписали Фанату одно посвящение — в афише было записано, что показ идет в память об Игоре Царькове — человеке, которого стали называть у нас «трагическим пенсионером». Дело в том, что шестидесятилетний Игорь Царьков совершил «самосожжение через повешение» на центральной площади города, при скопленьи зевак, пожирающих попкорн. Я был очевидцем его речи, но не досмотрел до конца этой порнографической сцены. «Покидая свое тело, как пожарище в смертном бою», Игорь Царьков так и остался городским сумасшедшим, хотя его жест был, пожалуй, посильнее самого Nine Eleven America under attack.

Волосы Влади

В детстве мне представлялось, что парковые фонтаны, куда все кидают монетки, и постаменты вечного огня — это один изумрудно-огненный аквариум, в котором живет Неизвестный солдат. Жизнь солдата заключалась в его смерти, то есть в том, что там, в этом пруду, он, несгораемый, сгорает.

Наше высказывание хотело быть простым, и мы воспроизводили его из существующих сведений, поступавших из разных устных источников. Однажды мы узнали, что Высоцкий сжигал волосы Марины Влади. Мы пошли с товарищем, назовем его Александром, в общежитие к девушкам, вернее, он пошел туда один, потому что это общежитие — святая святых. И он вернулся оттуда со своими волосами, завернутыми в газетку.

Волосы в домах принято хранить, потому что дом — это святая святых и потому что волосы священны, а священны они потому, что их нужно сохранять. А девушки тоже священны, потому что они нежны и красивы.

Вот в наших руках «волосы Влади». Вот мы их подожгли. И если бы вы знали, что за вонь они издают.

В квартирах, где живут священные девушки, пахнет смертью их матерей. Там пахнет безумной похо-

тью их отцов, избивающих младших сестер. Будьте заступницами, старшие сестры.

Священные девушки, стремитесь в мир старших, и мы осудим вас за глупость ваших слов, и единственно верный выбор — любить пахнущих смертью взрослых мужиков.

Юноши, из чего бы вы ни были сделаны, профессия — ваша жена, и распределение будущих иерархий — в профессорских кухнях. Ваши восторги — вот он, тот самый олдовый чувак, который дал вам в морду, вот они те — прекрасные близнецы с военной кафедры, старшие товарищи, где их не пропадала, тогда они положат вас в ванну и обольют водой, а потом выгонят мокрого на мороз, чего не сделаешь ради студенческой шутки! А сегодня не примут вас на работу и будут писать в корпоративном опроснике: урод, урод, урод, урод. Вкусно воняют волосы Влади. Сожжем их еще раз.

Ведь, как и тогда, сегодня спасут нас священные девушки. В катастрофе болезни, угрожающем смертью приступе, они выберут вас, и мы выберем новую жизнь. И пришло время: сегодня же соберемся и встретимся на одноклассниках.ru. Так охота ведь знать, где же та священная девушка, у которой ты когда-то хотел высосать пуп.

Газета горит и пахнет вкуснее, чем волосы. Заголовки начала века вновь выводят нам юного Канди-

да и прекрасную Кунилингву, с которой нам надлежит возделывать сад. И мы воскликнем: все к лучшему в этом лучшем из миров, в этом лучшем из невозможных миров, потому что невозможность несуществующего мира определяется степенью понимания отвлеченных историй и их «песьими модуляциями». В чем отвлеченность истории? Она в сопряженности со смертью, она в беспечности, которая пропадает в мире взрослых мужчин. Отвлеченность истории я буду называть теперь для себя Корбобо. Этот узбекский дед мороз шлет мне свой привет и смеется надо мной за то, что я не верил историям простого высказывания, сжигая «волосы Влади», ставшие высшим доказательством лояльности профессорской формуле: «Жена твоя — профессия. Закопайте ее во Христе».

Подпольные новосибирские попугайские клубы, там, где ходит сброд — на плече живые крысы, — и хозяйствует голыми зубастыми черепами, носят кликуху Пого. Там, где молодой поэт-Янкель кричит мат и визжит. Ваши деньги отмыты кровью на дорогах, где бьются кумиры священных девушек, потому что отвлеченность истории в том, что ваше «мне насрать на ваше лицо» — это деньги, лежащие на дне нужников в Майме, розовые с голубым сторублевки.

С отвлеченностью ясно. Теперь о модуляции. Легко представить себе, что ваша соседка заговорит вдруг

голосом Алисы Селезневой или клона из фильма «Через тернии к звездам». Легко вообразить себе, что «милый Морис», герой фильма «Высокий блондин», от которого прячут трупы разведчиков в холодильник, в своей вязаной шапочке и спортивном костюме ученого, вышел сейчас погулять с собачкой и улыбается вам. Поэтому носитель отвлеченных историй из невозможных миров столь же легко, как и Милый Морис, может легализоваться в глянце, как и червивая со спины мавка в одной из женских групп. А уж если символ веры можно найти в сапожнике, то какая сила должна быть в Милом Морисе!

В красноярской часовне Пятницы Параскевы, что изображена на новых купюрах, шла служба. Глухонемой нищий пытался прорваться туда. Я надеюсь, что Бренер не замерз и что нарвавший денег в шведском фонтане будет «делать их» в туалетах Маймы, которые обязательно воскреснут, а в доказательство этого, подражая Муцию, выполнит мою детскую мечту и обследует вечный огонь, потому что выдумывающих их личные ереси или следовавших до конца за теми, которые их плохо научили, мы отвергаем и предаем анафеме.

Круг природы

Стена описывает невидимую окружность цитадели города, уходящей в землю. В этом круге шведское кладбище. Как писал Берроуз, мертвые, выходившие из могил, построили Стокгольм и Мальме. И в нашем городе, в самом его центре, такое кладбище есть — искусственное и мемориальное. Оно напоминает Марсово поле — и стоит за перекрашенным под филармонию мавзолеем. Построили его в честь героев революции. В центре огромный мраморный кулак, торчащий из груды обломков, вздымает в небо светоч. Приезжие дразнят его «факеном статуи Свободы». На огромной мозаике длиной во всю стену в вечном воспроизведении — сцена расстрела живых. Сцена подобна древним фрескам гробниц — но это обряды не греческой, но жреческой жизни.

Это символ новой истории города, ведь кладбища старого Новониколаевска уничтожены — на их месте разбиты парки — ЦПКиО и Березовая роща, где еще двадцать лет назад то там, то тут торчали могильные плиты. А пять лет назад отойти на пять минут вглубь центра означало наткнуться на табор ритуальных хозяйств. Там можно было услышать гудки «печального телефона», как раз на улице Семьи Шамшиных, героев-революционеров.

Но мое кладбище находится далеко от центра. Чтобы попасть туда, надо было, как говорили в народе, ехать «за аэропорт» — за аэропортом уже ничего не было, кроме кладбища. Теперь нет уже и аэропорта с белыми самолетами, взлетающими с платка тополевого пуха. Но еще раньше, известно ведь, кто-то срубил тополя.

Заельцовское кладбище обнесено гранитной стеной и имеет двое ворот, «первые» и «вторые». Перед ним самая красивая в городе церковь. По дороге к кладбищу можно встретить и огнепоклонников, и баптистов, и староверов. И они скажут вам: не стоит ходить там праздно, без всякой цели.

Оградки врастают в деревья. Наверху тихо, внутри земли пусто. Памятники словно стоят на этой пустоте, куда мы приходим разговаривать, и плакать, и оставлять папиросы. Упершись взором в родной уголок природы, иногда понимаешь, что там, под землей, никого нет, но когда поджигают мусор, и оспенные дети в тележках спят мертвым сном, и включаются марши, в просиявшем небе чудится вознесение.

Кладбищенская площадь, на которой в финальной сцене фильма «Хороший, плохой, злой» стреляются, начинает кружиться от неподвижности. Подобная площадь, мощенная камнем, есть, например, на кладбище

в городе Красноярске. Есть она и у нас, где сходятся все дорожки. А чтение чужих надписей и разглядывание лиц мгновенно сообщает мозгу головокружение.

Надписи и post-начертания: вертикальные плиты с пометой в углу — звездой, крестом или полумесяцем; конусообразные железные каркасы, увенчанные также звездами, полумесяцами и крестами. Есть и другие надгробия — в виде печального скорбящего ангела, барельефы и бюсты. На могиле иных юношей — пацифики, иных девочек — привинченные, исполосованные дождями тряпичные куклы.

В советские годы на некоторых городских зданиях можно было видеть огромные мозаики — символические фигуры, изображающие человека труда. Теперь это могила осквернителей тыла. Так и на кладбище есть изображения выше человеческого роста, указывающие на жизнь после смерти, с атрибутами, которые можно взять с собой, — золоченые бутылки с шампанским, серьги и часы, гроздь винограда и даже автомобили, на которых четко прописаны номера.

Здесь, на Заельцовском кладбище, — несколько склепов разбившихся экипажей авиаторов, гробницы знаменитых мотогонщиков, молодых людей и девушек, убитых неизвестными. Скупые слова эпитафии: «любим, помним, скорбим» — иногда складываются

в энигматические стихи: «душой и телом вы станете тогда единым целым».

Здесь похоронены самые известные в городе люди: врач Я.Л. Цивьян, первый ректор НЭТИ Г.П. Лыщинский, поэт Елизавета Стюарт. Здесь установлены воинский мемориал и надгробия в память погибших в годы Первой и Второй мировых войн жителей Венгрии и Австрии. Здесь похоронены сестра Михаила Булгакова Варвара Афанасьевна Карум и писатель Евгений Харитонов, один из основоположников современной русской прозы. Целью нашего визита на Заельцовское кладбище и было посещение его могилы. Она находится в первом ряду в седьмом квартале слева, если идти от первых ворот.

Счастье и его воспроизведение в мирное время почему-то неостановимо влечет в паноптикумы. За стеной энского мавзолея скачут жонглеры, в Академе играют дети, вольно разгуливают домашние животные и счастливые мамы, и только в дни выборов на улицы костяными мешками высыпают старухи. Но похороны здесь трудно застать, и как будто бы никто не знает о существовании другого — Южного кладбища. Единственное напоминание о нем — киоск Горсправки — снесли. Там были выставлены на продажу овальные портреты — фото на памятники.

При мысли об этом кладбище возникают в сознании величественные образы отцов-основателей Научного центра — академика М.А. Лаврентьева, Г.И. Будкера, И.Н. Векуа. И на самом кладбище светло — расположено оно в березовом редколесье. Но никто не всплакнет о неизвестных самоубийцах, разбивших узы Гименея ударом бритвы по горлу, о совсем еще молодых людях, умерших от рака и СПИДа.

И уже не стоит в глазах жуткая речка смерти — Аргут, на которой гибли и гибнут молодые герои, спортсмены-сплавщики, в сверхчеловеческом порыве бросающие вызов природе. И идея круга вовсе не кажется усвоенной нами в глубоком детстве человечества, скорее — это хулахуп на поясе запрокинувшегося танцора. В его помертвелых глазах — фигура одного из спутников Одиссея, юноши, обернувшегося на голос, возникший из воздуха, назвавший его по имени, и унесенного в водоворот.

Истлевшие фото

1.

Чтобы дойти до такой степени развязности, отвечукоротко: об этом принято молчать. Как может парализовать четырех лунатиков и одну ведьму простой щелчок выключателя, ветер и дыхание, которое хранят кудри, шатучие створки песен весенних улиц и ольхи, ольхи и березы. Как это может довести до того, что на четырех черных, как дно ветхого земельного дома, венских стульях возникнет общее понимание паяца, который начнет от этого шататься вдруг, точно голый перед вами, и будет чувствовать это и не в силах ничего будет сделать. И наблюдать обнажение его женской натуры, как тлеющая лучина, будет так волнительно и волшебно.

Об этом помолчали трое, которые обычно молчали в таких случаях. Почему и как называть это чувство, когда в глазах проходят мертвые мертвые мертвые — почему еще при жизни мы молчим об этом и почему мы это вдруг видим: бесконечное дробление в зеркалах, которые можно обгрызть зубами, и невозможность стать и быть, в общем-то, со всеми. Быть одному.

2.

Десять лет назад мы с тобой купили арабскую монету с кувшином у антиквара. Теперь антиквар и букинист съехал. Через десять лет я зашел в чайную. Там был мой друг. Мы пили красный халат. Он сказал, что зашел в секонд-хенд камуфляжа. Осмотрев все шинели и гады, он собирался уже уходить. В это время в магазин зашел маниакальный субъект. Продавщица, работавшая там, по всем признакам, первый день, вдруг подошла к другу с запиской, написанной красным стикером, словно приготовленной заранее (в этот момент у меня возникло ощущение дежавю). В записке было написано — «не уходите, я его боюсь». Друг пошел осматривать шинели, летные куртки, френчи и гады по второму кругу, обшаривая карманы. Тут он положил на стол монету в пятьдесят пенни, которую обнаружил в одной из британских шинелей, семигранную, с королевой Элизабет и Палладой. Как знать, может быть, это была монета из Передней Азии. Это тебе подарок. Я сложил ее в пачку железного «Беломора» и отвезу тебе, как и тогда. Медальон же в форме сердца с алмазной инкрустацией и одной выпавшей фотографией, поднятый на твоей остановке, теперь уже некому возвращать.

3.

Ремешок часов сбил на пол со стола счастливую сигарету. Из той коробки, куда она засовывала ее перевернутым золотым табаком наружу. Теперь это грозило с утра ампутацией с красивой разноцветной рукой верного стилю оформителя. А раньше это было, напротив, путаницей, когда красные сапожки и черная вуаль передергивались от свиста морозного ветра. Теперь они сидели рядом на своих местах, на фотографии на стенке, пронизанные единым песочным, кремовым, кремниевым взглядом. И фотография не передавала морозного воздуха свернутой в позе молящегося кабины грузовика, где ему ампутировали, и ее сверкающего хохолка, с которым она взошла в светелку ненасытных высоток. Она вышла из тоннеля, в котором с двух концов, как на червленом серебре, проступала чернота, померкло все, включая и комнаты с разукрашенными теплыми одеялами, муфтами и позолоченными живостию лицами, померкли все одеяла, и платья, и клетчатые юбки, и клеши. Померкло единство взгляда, отражающего себя и осязающего внутренность каморки, из которой она только что выбросилась. Осталось лишь единственное слово, которое было в записке, найденной в конце полутемного коридора. Здесь жила бабушка. У нее никогда не будет детей.

Звонок разбудил ее, подруга долго искала телефон и позвонила третьей однокашнице, которая прежде жила в соседнем доме и ходила слепая в черной шубе и огромных роговых очках. Сейчас она, как удав из мультфильма, покачивалась в гамаке в Америке и видела хорошо. Я тебе сейчас подскажу номер Нади, сказала она. Мы не виделись двадцать лет и три года и теперь вот едем туда, на священное море, в ожидании ужаса и страха от того, чтобы увидеть, что от нас осталось и что мы так и не вырезали из фотоснимков на падающей стенке. Распутица, ампутация, гангрена, таинственное свечение точек зрачков, что померкло вместе с ветром луковиц в ее теплом пальто.

4.

Он собирал книжный шкаф. Или они вдвоем его собирали. Он принес перфоратор. Шкаф так и не упал, как упала и перевернулась теперь его тень, пристальный взгляд, простая рубашка и брюки-трико, легкая походка старика. И лицо молодца-усача, мотоциклиста. Сколько разного всего вынесли. И когда в потемках раннего июньского утра проснулся и наткнулся на одежду мамы на балконе, принял за мертвую. Теперь его тень перевернулась, и осталось только последнее тепло, когда его несли. А молодой усач-мотоциклист пока еще ездит. Сколько раз переворачивалась эта комната. Теперь слышно абсолютно все до дна пустого третьего этажа.

Али-Баба схвачен

Мальчик спал. Когда он спустился с полки, то оказался красивым идолом с добрыми глазами. Он путешествовал в далекую родную деревню из Томска, где родились все остальные участники беседы, включая высокую девушку постарше, которая также ехала вглубь континента и вязала носок, периодически примеряя на его, мальчиковую, идолову лодыжку. Пока пряжа прялась, кто-то сказал: давайте рассказывать о прочитанном. Я извлек развлечение из книжки для быстрых веселых глаз. В книжке было написано: девушка блуждает в новогоднюю ночь и не может найти свой собственный дом, потому что все дома одинаковые, словно Али-Баба вывески замазал и всюду волшебные крестики поставил. Села девушка на старый пень, заплакала и заснула. Просыпается в другом районе, и перед ней стоит Али-Баба. Почему, спрашивает, и здесь все дома одинаковые, отведи меня домой. Слушай, отвечает Али-Баба, у меня у самого нет никакого дома, и я не уверен, что мы не покинули уже пределы этого мира. А я, продолжает томич и чемпион по борьбе, мне вот кто-то так несильно в дверь постучал и носочки вязаные принес, я хоть и недавно со школы, но у меня уже фотомастерская и своя кальянная, а еще я обучаюсь на международных отношениях, и по радиофи-

зике спец, и торгую айпадами из Америки. А я, говорит прядильщица, месяц как тоже вышла на работу, изучала я художественное творчество в театральном училище, а сейчас я судебный пристав. И говорит мне: Али-Баба, куда ты девушку дел, я хочу к тебе на участок прийти, зачем ты мне всех кредиторов попутал, расскажу тебе, как врать лучше, научу, как от налоговой скрываться, только напиши мне свой ИНН и адрес точный. Тут Али-Баба возьми и дерни стоп-кран, и видят они, в окно, как мужик на подножку запрыгнуть хочет, да и ударился головой. Побежал Али-Баба по вагону, а тут менты его, вспышкой засняв на месте преступления, на следующей станции и взяли, и стали судебный пристав с кальянщиком дальше ночку коротать.

10 лет, 20 лет

Квартира в притупленном свете, в двадцатилетней переправе вспять, когда был стадион, цветущее лето, кинотеатры, сады. О моем странном появлении в год начала столетия хозяйка забыла. Все объективы, дрели, рубанки, рейсшины покойного висели на гвоздиках в полутьме. Двустволку пришлось продать. И лишь усилие внутренней эфирной лампы озарило на миг комнаты: детскую, светы над Байкалом, Ангару, такую же морозную и такую же летнюю, и все исчезло.

Мне полезно все с хрящевой тканью — сгорбленная хозяйка вдруг вспоминала и говорила подруге лишь о победах в лыжных эстафетах и желании выйти в Омске без денег, потому что надоело кататься. Торжественный и ликующий смех: вот какие мы молодцы, а кто из семей побогаче, те — нет, не такие хорошие.

Не осталось никого и в самом городе, где можно летать на автобусах наугад. С утра мы разминулись на вокзале и добирались сами в потемках среди инвалидов с игрушечными костылями, ночных нелюдимов, ранних рябых. И сами дороги уже изменились.

Я лежал на диване покойного и уходил в короткий сон, по пробуждении из которого заставал лишь вспышки короткой памяти двух старушек с пьяными от

сонного счастья глазами. Солнечный стоит над дамбой, но это не видно в дымке. Меня встретил старик в фиолетовом талесе в большой квартире с собачкой размером с кошечку. Настоящие коты в ослепительном солнце грелись на улице январской весной, выворачивая кверху гладкие спины. Передо мной разложили газетные полосы пустые с одним черным заглавием, нет, не «Проклятое небо», а другим, отремонтированные грампластинки, Париж и Синявского, скорую эмиграцию в Кастилью, множество оловянных солдатиков, сов, ножей, слонов и фигурок для мантики. На балконе факир сказал: ничего не придумано лучше ножа и книги, которую им можно разрезать. Действительно, двадцать ножей сидело в ножнах в день летающей свободы.

—Эта, с пятого этажа, не дает пропустить провода через счетчик, чтоб не гадили. — В огромных ботинках сгорбленная тетя Люся замкнула предельную кладовку свою, с прищепками, проводами и советским озонатором воздуха. Дальше — Марково кладбище, кисель, зажженные свечи, глубокий горючий взгляд старожила этого света. И затем поезд, поезд с первого пути, в котором бесконечная череда пробуждений, в которой, как в кроне фотоотпечатков сна, лишь червленая вспышкой черноты, твоя голова, твое лицо, ночерь моя, чужестранка.

Черновик

Я любил четыре вещи на свете: мои прадедовские шахматы, у которых я отгрыз все подушечки, лакированные, подаренные им в день нашей последней встречи; мой первый желтый кожаный мяч, лопнувший на кленовом прутике во дворе героя афганской войны; брата моей одноклассницы; наборный мундштук, доставшийся мне от дяди; опасную бритву моего деда, которую навсегда спрятала от меня мама.

Постепенно я установил календарь рождений, смертей и перерождений, но многие даты уже стерты из общей памяти, поскольку она переполнена. Из моих ботинок сыплется песочек, их дни сочтены, их время ушло. На века останутся только две даты: 9 мая и ночь на 11 сентября.

Я не любил спать в детском саду, предпочитая заниматься любовными играми с моей подругой. Ее первый муж жил в детстве в самом крайнем подъезде моей тогдашней улицы, его бабушка, очень строгая, — это одно из первых моих воспоминаний. Все остальное время я не знаю, спал ли я или только был наяву, потому что мне не удалось установить нужного отличия между сном и явью, чтобы пробудиться.

Я не прощаю в жизни лишь одной вещи — предательства. Я проклял человека, deja vu которого полностью

совпадали с моими, именно из-за этого. Но слухи должны летать быстро, оставим ему то, что подобает молве.

Сочинять литературные произведения никогда не составляло мне никакого труда, слишком много яркой и мгновенно переворачивающейся жизни, как женская татуировка у папаши Жюля из фильма «Аталанта». Я более всего на свете любил два литературных произведения: «Кирджали» Пушкина и «Малиновую шашку» Хлебникова. Самый страшный испуг я испытал в жизни, когда мама открыла дверь в момент прочтения гоголевского «Портрета».

В своих аттестатах получил три троечные оценки, теперь, будучи библиотекарем в лучшей библиотеке страны, об этом вспоминать не смешно — я провалил экзамен и посмел выставить на Pozor весь город и мир. Мне стыдно, что я так и не уделил внимания в своем творчестве своему ближайшему конфиденту, посвятив ему лишь одно стихотворение, завершающее одну подборку. Вторая тройка была по греческому — все, что я запомнил из уроков по этому языку, была первая строфа «Илиады»: «будь мой Патрокл со мною».

Однажды мне удалось за две недели сочинить восемьдесят пять посланий моим друзьям, среди которых все те, кто спасал меня — и многие из них литераторы. Наверное, с греческими обрядами у меня так неважно от

вероисповедания — смеси крайней формы огнепоклонничества, ислама и католицизма.

Говоря метафорически, главная встреча моей жизни уже произошла. Ее можно было бы назвать встречей Сета и Гора. Было множество других встреч, или сретений. Я не знаю, зачем мне было начинать мои приключения заново, потому что колесо солнца вращалось всегда. Вернее, солнца и его тени. Моей любимой книгой был альбом венгерского писателя Яноша Эрдеди «Борьба за моря».

Я не планирую в ближайшее время сочинять рассказов и историй, предпочитаю прожить свою 1001 ночь сам. Но я должен стихи одной персоне и понемногу начинаю напевать их, потому что я за «любой кипеж, кроме голодовки», как повторяют мне на каждом углу, а мне лень погуглить цитату.

Что еще сказать о мне: по-прежнему больше муравья, меньше слона. Я хотел учиться на Факультете летательных аппаратов и работать на заводе имени Валерия Чкалова и был бы более полезен там. Имя второго пилота я утаю.

Про арбуз *(сценарий)*

1.

Лето. Летит тополиный пух, все устелено им вдоль дороги к красному магазину. Показывается длина дороги и широким планом ее глубина. Наплыв камеры на дорогу с пухом, на которой стоит как истукан старуха — человеческая фигура в белом платье, которое видно снизу, как в складках этого платья толчет ногами фигура, как будто проваливаясь в сугроб (виден сугроб, который толчет ногами фигура — с глазами истукана). Порыв ветра — платье с оборками как капюшон, летит пух, и вся улица оказывается заставлена такими старушечьими истуканами. Одна из фигур делает жест рукой — приказывая и указывая пальцем. По приказу сын старухи, мальчик в шортах с длинной черной тенью и белобрысый, направляется с авоськой к красному магазину. Показаны продукты на витрине, затем показаны как на схемах (где изображались части коровы — корова здесь как географическая карта на стене) — в сумке показаны эти продукты — молоко в бутылке, картофель, масло и т. д., водка и чай.

Тень мальчика нарастает — вытягиваясь, как бывает на асфальте, — и в рост этой тени укладывается фигура взрослого лысеющего (или нет) сына, который

в непонятной позе — вверх ногами сидит на кухне, — показана радиоточка (или телевизор — на котором в кадре «Английский язык, первый год обучения» — заставка с говорящими фигурками — потом надпись «Не забудьте выключить телевизор»).

2.

Две женщины стоят на углу у магазина, курят. Одна держит арбуз с хвостиком — наплыв камеры — затылок ребенка с темечком. Подбегают мальчишки, пытаются отнять арбуз. Одна из женщин (Ведьма) делает страшные глаза, грозит и делает движение вперед, обращаясь к небу, — план неба, на которое набегают тучи, и сыплется град. Ведьма отвлекается (заминка — крутит сигарету), кадры бегут назад, как при обратной перемотке, и вторая женщина говорит — можно закурить — достает приму и закуривают.

3.

Наплыв камеры на лица двух женщин — и они же — только молодые — две дочери — сидят на кухне за круглым столом, курят, разговаривают (не слышно, о чем). Полумрак, но лица видны, наступает вечер. Длинный коридор помещения, две уборщицы смотрят в него — в конце коридора просвет. Фактура пола — длинная

и широкая, как и дороги в начале. Тряпка швабры смывает пол — видна река (вдоль) в солнечный день как с моста. Первая дочь садится в лодку. Сначала молчание — потом голоса толпы, усиливающиеся, на иностранном языке. Появляется старуха-истукан, которая нависает в лодке, а потом оказывается на корточках в коридоре, где моют полы, на окне — голова на коленях, и говорит: «*распилили мне голову*». Сын, который сидит на кухне у телевизора (телевизор черно-белый «Рекорд» или вроде него), берет лобзик и пилит голову.

4.

План на кухне, где говорят подруги-дочери — одна мерцает и исчезает. План на вторую, сначала анфас. Она включает радио — там голоса на иностранном языке, потом радио обращается к ней: «*Поди, посмотри, что там*». Предметы на столе — готовка, выходит на балкон — там помидорины на ветках рассады, оборачивается на окно, и сама запирается дверь — ее окликнули — и в стекле видны тени — растворенные — красивых людей. Оборачивается вокруг себя, открывая дверь в комнату, — тени красивых людей исчезают, но доносятся их голоса из радиоточки, и полумрак. Заходит в комнату — а там сидит ее подруга. Вздрагивает и садится.

5.

Речевой фрагмент. Начинает рассказывать та, которая появилась в комнате, — и пока она рассказывает (фрагмент текста: «*Я ездила когда в Венгрию, сама как-то обходилась, ни слова не знаю ни на одном иностранном. Вижу — лодочка — на нее садятся старушки — они плывут через Дунай, и я с ними, они болтают, щебечут о чем-то своем, а я — молча — о своем думаю, весело мне, хорошо! Еще заметила — поезда там такие медленные — медленнее лифта едут, и двери в них открытые — можно с любого места садиться. А еще говорят, у них слов не хватает в языке — и они не могут выразить свои мысли...*»)

И пока она рассказывает — тени, что были в окне, колонны старух — такой план — плюс толпа в лодочке.

6.

Поезд под парами, свисток. Мужчина садится в вагон, быстро взобравшись и обернувшись. План на лицо рассказчицы, лодочка, и, как будто крутишься вокруг себя, быстрое движение предметов — мужчина, который сел в поезд, теперь один в лодке, бросает веревку у берега, быстро оборачивается, и лодка уходит из-под ног.

7.

Рассказчица набирает воду в колодце у дачного или сельского домика, набирает воду. Усиливающиеся голоса, что по радио и толпы, рассказчица оборачивается — четыре огромные фигуры — в ряд, анфас, набегают большими тенями — и ноги теней движутся как стрелки на большом белом циферблате — или как палочка солнечных часов. Фигуры четырех человек сбоку. Камера наезжает, в профиль показывает — фактурные большие головы, выстраиваются в каре — и несут носилки — с зеленой выцветшей солдатской тканью. Кадр на носилки, рассказчица роняет ведра, вздрагивает. Вскакивает на кровати мужчина, вскакивает во весь рост, вздрогнув и испугавшись.

8.

Его же фигура — он стоит на полу в коридоре перед описанным в рассказе дверным проемом — видны тахта, и чайник, и табурет, но комната как будто бы затопляется водой — и он выпрыгивает, как будто бы в воду, и перепрыгивает как через перекладину, показано обратное движение, и быстро оборачивается. Раздается выстрел — свет гаснет и вспыхивает — он в комнате, где тахта, и чайник, и табурет, — и по стенам бежит хоровод теней полосами — как в негативе — а потом в вертящемся круге, разбитом на сектора, — проплывают лодочка, река, коридор, улица и все панорамы в газовом пламени.

9.

Кухня. Рассказчица одна. Смотрит письмо, складывает письма. Ест булку, давится и плачет. Вокзал. Едет в поезде, меняется в череде нарядов, медсестра, монахиня. Долгий поезд-товарняк едет, она под мостом проходит, загадывает желание? Старится, плачет, ест булку. Рассказывает: «*Последний раз мы увиделись так — я ехала с Дальнего Востока в этот город, где мы живем, а он в военном эшелоне на Дальний Восток*».

Ночь, остановка, перрон, день, остановка, перрон, пустой. Еще раз, несколько перронов днем и ночью. Выходит из вагона — поднимает взгляд — стоит этот мужчина, военный. Встретились.

10.

Выстрел, впрыгивает в комнату как через барьер, колесо теней по стенам, наплыв камеры, упавшая тень. Выходит из трибунала Дома офицеров, только старым, с сединой и в гриме, собравшаяся толпа, голоса толпы и радио, которое на кухне, его встречают. Последний план — едет в «лиазе», выходит на Морском, подходит к хлебному. Кадр — выронила ведра — а теперь две дочери — обе уже старые, одна крестится, а вторая ахает и роняет арбуз.

ПОВЕСТЬ О ПОЛЕЧКЕ

Часть первая. Поминай как звали, начинай сначала

Петру Хромову

Хотел вам рассказать. Времени у меня в отрез, на последнее платье, кафтан с Каштановой аллеи, где вольно гулять нам. Гулял там один Вася, нагулял кило пять, а потом сел в метро и захотел спать. Он доехал до конечной станции утром, а потом уж нашли его там мертвым. Вот что такое время на конечной станции круглосуточного метро. Выстрелили в него из обреза, где-то на наружном перегоне, в окно, там, где деревья с подсыпанными снежком кронами, посеребренные стоят и замерли давно. Прострелили окно. Поезд тронулся. Я тоже, и рассуждаю сейчас об этом, пытаясь занять исходное положение. И, знаете, нахожу его чрезвычайным. Ситуевина такова моя, чрезвычайность ее такая, что бьют часы на старой башне, указатели перед Днем всех святых за Каштановой аллеей все перевернули в обратную сторону, что рассудок мой мешается, ничего в руках не держится, вирусня заразная оказалась, хотя и не воздушно-капельная, свалился я ничком с моста, просыпаюсь на кафеле и думаю, ох, неспроста сороковник у меня. Первое апреля, никому не веря, и с тех пор понял, дошло — времени в отрез, до послезавтрева, вот что такое время, по́ки, кру-

глые сутки, волчки, как у проститутки глаза, что твои от ключей брелоки.

I.

Прошло 10 лет без малого, когда раздается звонок. Я не вчера родилась, а давно так, что голос с того света — звонят-говорят, это раньше было, не дождешься от них ни ответа, ни привета. Вот что такое время, что оно делает, расскажу вам детально, заполирую только счас микстуру больную моментально. Глаза у меня как градусники — вертикальные, ртутные, осложнения большия, явления простудные. Переплюну любого в этом, корешок разломлю об колено с переплетом. Время коротко, осень быстро делается, по Каштановой аллее поземка вертится вокруг трупа, что лежит под самым маленьким деревцем. Ну что ж, начнем эту грустную басню о том, как высадил топором мужик дверь и послал всех в баню. А сам ходил в безрукавой майке, и это был, так сказать, порог чрезвычайки. Пуля поезд круглосуточный пробила, а он в баньке сидит, топит, курит как кадило. А на улице, понятно, сороковник, светопреставление. Не того убили опять выстрелом, одно осталось привидение, желаний в исполнение. Об этом поведал мне, «голуаз» уронив на землю — покурить мертвым, вестник без глаз, шлем крылатый опустив на морду.

II.

Несут с утра знамена черные, черно, и волосы как смоль у них — и ветер сминает их, в рукава распихивает, под кустом облепиховым, плачет и колет который. Так плакал у меня с утра в телефоне голос Вошколада, он говорит, умираю, только один ты можешь меня спасти как надо, дай денюжек, плачет, а время шесть утра воскресного, значит, дня. Говорю ему, Вошколад, вызывай скорую, пусть везут тебя к доктору Курпатову, и иди на хуй, и пошли туда того, которого, кто тебе дал-то в прошлый раз денег, ими как мудями позвякай. Неужто ты клад нашел на кладбище, в яйцекладе змеином? Ломки вены, да, понимаю, но, прости меня, их я никому не даваю. Зачем ты пришел, мне тогда сказал, как балерина, что были похороны, когда речь шла о кошке. Теперь вот, когда твой братя выпал из окошка, растворился ты в воздухе, этого, скажешь, не бывает, а того, кто тебе тогда денег дал, даже не вспоминай, уехал он, беги, догоняй. Постарайся проколоться опять, а мне надо еще, говорю я Вошколаду, поспать. Так ведь и до утра, бывает, не наглядимся, и мне поебать, хоть бы пошло время вспять, что Вошколад в трамвай еще не ложился.

III.

Просыпаюсь снова, день наступает новый, дождик ноет, моросит мои хромовые обновы. Это сапоги железные, берцы, которые износить я не смогу, пока не выбью тебе из груди сердце. Ползу в них на мостик стометровый, о котором не знал, в километре вокзал, а тут улица, на которую попасть вовремя ни разу, никогда не опоздал. Вот и сегодня, 10 мая, опять я туда плетусь, никого не узнавая. Летят серьги березовые, роза ветров вертится и валится как флюгер на вертолетике осеннего клена, и сегодня мы обнаруживаем, с поклоном, именины сердца, стальное колечко, что упало в колодец бездонный, вот и тогда иду я как бездомный, присаживаюсь на оградку у магазина чугунную, ночь прошедшую вспоминаю безлунную. Каждую субботу по осени по-за-той, ходил я на рынок, где памятник торговке и покупателю золотой. Сделал его скульптор один из города Барнаула, уже после того узнал я об этом, как снова вернулся со свернутыми скулами из Барнаула, в одежку ветхую переодетый. Ветхую, значит, вашими молитвами, в петлях которых скрипят козинаки, отпетым и вновь провозглашенным, как конец света, значится это в графе, где не осталось никаких пометок, кроме того, что крови моей маки нюхает, быть может, мокрый нос большой доброй собаки-баки. Короче, это не сегодня все случилось, а в тот день пере-

шел я мост, и вот что дальше приключилось. Пошли мы в магазин, одежда из вторых рук, я и мой старый-старый друг. Уже потом я оказался на рынке, в кафе «Фавор», там чашек фарфор и в них чай. Осень лупит, как подметки ботинок, в глазах рябит, как ошметками паутинок, настигает тут меня измена, что опоздаю, но приходит Ждан, а измена не пропадает, потому что ее этой осенью не в обхват на кафтан, отвечать крайне невпопад начинаю. А дверь входная распахнута настежь, грабь награбленное добро мое, оставляй меня лежащим навзничь и невзначай закуривай, думая о своем. Тут в дверях и возникает Вошколад, и говорит про похороны, он так обмолвился еще, кошки. А просыпаюсь я на следующее, воскресное утро, в шесть часиков, от его отбойным молотком долбежки. Изнывает он, ломает его, качает как деревцо, и вот выхожу, препоясавшись сегодня, и выношу ему соль и хлебец на одном из самых свежих в мире утренних полотенец. И так каждую субботу запрошлого года проводил я в походе на рынок и за рынок, дальше, где растет мое маковое, большое, как футбольное, поле, и все тревожнее мне, и все становится слаще. Потому что там, как вы уже догадались, тут пальцем только в глаз попадешь, а не в небо, ходит туда стоптанный, как башмак, речной трамвайчик, который окормил, обрюхатил меня и переселился потом в соседнюю, другую деревню. Или, может, квартиру другую, не

ту, с номером телефонным, нету номеров, все, повторяю, стерлись из памяти, я ничего больше уже не помню, кроме того, и так далее, и так далее, и так далее, как бывает, когда вы все и обо всем забываете.

Далее.

IV.

И вот голос мне говорит, не умирай пока ты, времени нет, говоришь, себя в комнате потеряете, ведь по-за-вчера уже красные хоругви пронесли по улицам молодые люди патлатые, а без меня вы ничего никогда не узнаете. Что ж, говорю, погоди минуточку, поднырну под тебя в дельфинарии северном, и тогда запоешь ты, плаксивая уточка, серая шейка, что моя версия пока не проверена. Так вот и той ночкой доброю, добирались пока до дома на Гурьевской, ты тоже так плакала, деточка, что околела струйка семиструйная у кобеля в строгом ошейнике. У очевидцев тик нервный начался, а я сидел с каменным лицом, как в бандитской игре про минетчицу, и на телефонные звонки отвечал вкрадчиво, и так полгода, и еще год, пока не захорошело мне, как женщине. Это случилось, история кончилась, не начавшись, скоро дело делается, да долго сказка сказывается. Минуло с той поры уже девять месяцев как девять дней, показалось мне, но что-то гладко все, тут что-то не складывается.

V.

Вот второй сейчас час, как и тогда, восстанавливаю по записям в метрике, как ты ходишь и топаешь в огромных сапогах, от меня как будто в одном метре всего, а так далеко, как месяц на рогах. Козью ножку сверну, прикушу губу твою, вылижу все батарейки заново и омою лицо твое перегаром праведным, завидно будет вам, тем, кто ко лбу твоему приложит ежовую рукавицу и сыграет на зубастом ящичке *мою* пассакалию.

VI.

Я прихожу, темно, хоть глаз выколи, в каморку, где ждет меня нежданный да избранный и скребет наждаком все стекла черные, липовые, забитые прахом мозгов твоих, кисонька, ногами забитая, с сапог моих слизанных с дерном. Как грязи лечебные, чище их не бывает, говорю я Ждану, который сейчас уже далеко, дай мне книжку одну телефонную, ту самую, что на сучке́ висит номерком. Этот сучок в глазу твоем, брат мой, говорит мне Ждан, легче станет, ополосни стакан, через полгода здесь будет бордель, ба-балет, лупанар. А сейчас, пока светит фонарик мой маленький, выпей стакан и лети, как на морозе комар из азбуки Морзе. Ополоснул я его водкой русскою, так называется, это четок, и оказался вновь на морозе я, чуто́к. И гляжу глазами до безобразия узкими,

и жмурюсь, как парализованный льдом кипяток. Пи́сать я им буду, кровью как, и побегу сразу в милицию, все на той же площади миленькой, только раздавленной, как драже, так что под ботинками говно зашевелится бисерное, разъезжаясь с гостями вшивыми, тамошними, как рука *твоя* заползает обратно в манжет. Туда, туда, туда, откуда я, вох ди цитроненс блюхн, бултых, я, костылями своими орудуя, забегаю в блиндаж и в блин растаптываю козинака жмых. Там, в блиндаже, несется разноголосица, поет оркестр и 10 ноября, я бросаю через голову матросика и ломаю ему переносицу, и кием душу его, поигравши с ним в бильярд. Пламя глаз этого безумного дьявола, а на самом деле жалкого червя, который поедает поганку бледную плюгавую, напугает блондинку Плунгян до седины или хотя бы до середины сентября. И тогда врывается врач-травматолог с огненными глазами и фиксирует руки на поясе мне, а я думаю, дам под коленку и переброшу его через голову, а сам прислонюсь к стене от боли в спине. Нет, не грыжа у меня там выпала, выросла, как у большинства моих с остановки «Мебельный» друзей, и все в один день. В крестце моем на тузу дырявом от иголок две дырочки, а я все отвечаю на звонки и на лесенке качаюсь, как картина на святом гвозде. И тогда не выдерживает начальница моя, которая как мама мне родная и у которой от игр в «каменное лицо»

начался нервный тик, и выползает вдруг из-под стола минетчица благородная из магазина, который хотел ограбить один псих. Оба в больнице они теперь, и преступник, и та кассирша, которая, откусила тогда ему полхуя навсегда и выплюнула через левое плечо. И поэтому я хватаю шар бильярдный и бросаю его с размаху в лузу, как в трюмо какого-то алтаря, от всего сердца, горячо. Он рикошетит в висок голкипера, вратаря с чешской фамилией Каша, или Валенок, а потом улетает в склянку под Питером, и меня хотят вязать, как в песне «На графских развалинах». Я слушаю и повинуюсь, но голкипер чешский Каша, встав, как ни в чем не бывало, из-за стола, говорит: здесь и так собралась честная компаша и вощще-то седня 10-е ноября, мать вашу едрить. А это потом расскажет он испуганной девочке, журналистке, не той, которой полюбился таксист, про меня, а другой, которую я до смерти напугал, что это опер из Кыштовки по имени Кшыштов, шумел камыш и гнулись деревья, и тут подходит ко мне Надия. Ты маньяк, у меня есть водка, и начинает меня целовать так, как никто никогда не целовал ни меня, ни вас. Я маньяк, отвечаю, и вообще, я волк позорный и мертвый, опер Кшыштов, и не предназначен для ебли вообще ни хуя. Я предназначен машинистке Нюрочке, которую каждый вечер провожаю домой до сих пор, in immortal ноябрь, Улялюм. За тех,

кто втюрен в эту Нюру и только числится в МУРе, никто не пьет, только я и мой друг Брандмайор. Вокруг сначала свист и улюлюканье, гопак несется, и вдруг тишина. Надия, никто не проводит домой тебя сегодня, глупая, лети от меня прочь, голубка моя, прочь лети от меня.

VII.

Я всего лишь колечко, что закатилось под стол, но ноги отсохли и пальцы разбухли. Эпизод был другой в небе голубом, под солнцем губастым и пухлым. Мой друг Ден Мороз, дубленку надев, поехал в Святую Землю-лю. И там оказался, руки воздев, у Айи-Софии в декабре, как в июле. Тем самым он, как подумалось мне, не совершив ни одной ошибки, принял участие в угрожавшей всем войне, уничтожении коры головного мозга моего и его прошивки. В дубленке сидя со старой подругой, которая видит цветные сны про милый рай, покинутый в трудный момент навсегда, эти сны из смальты сложив в мозаику, оказалось, что она сквозь розовые очки будто вчера родилась. Как на Бразильской горе в Рио-де-Жанейро, жаворонок звонкий, и на камнях растут деревья, и сверху кажется то, что эта Святая Земля и есть осыпавшаяся мозаика из смальты, на которой живые люди пока есть, а не натечки базальтовые. И тогда один изобретатель подумал, что бульдозером эту кучу секре-

тиков детских можно убрать, чтобы потом их снова найти во дворе дома Дена Мороза, и вернуться обратно сюда, в потерянный рай. Но для этого придется покончить с соком липким, клюквенным и березовым, чтобы похоронку не получить невзначай. Но тогда, в чрезвычайном своем бессмертии, маленькие муравьи, искусав его ахиллес, что смальты передвигали куски, сказали, что выставят 50 тысяч таких, как они, и еще тысячу смертников, чтобы мир скончал свои дни и исчез. И пока жилмассив соседний обесточили, я подумал, а вдруг, выставив громоотвод и накликав грозу из тысячи чаек морских, как молнии среди бела дня, я почувствовал, что Массих аль-Джедай уже заворочался и поджидает их у ворот в надсаженный, как глубокая перерезанная глотка, рай.

И тогда, нарядившись в одежды белые, чешские, и накинув куртку летчицкую как башлык, я поехал исправлять ошибки деновские, академовские, и побежал на рынок в «Фавор», чтобы мне сказали, как пробраться в ощетинившийся штыками Еджипт. Это был Газават, во время которого я оголил на кухне своей все провода и врубил свет, неся в руке громоотвод. Но мне наперехват ринулся и поймал меня в квартале одном от дома Синдбад-мореход. Он сказал, пусть Ден Мороз, раз он заварил эту кашу, сам и расхлебывает ее, а то ты сейчас себя

просто убьешь. Давай лучше пойдем и сочиним песни про любовь Глеба до гроба в девочку Машу, не который Жеглов, а внебрачный сын его. И мы пошли, взяли гусли и запели про маки красные, как сон твоих кальсон. И наши голоса сладостные радостную весть несли и звучали поразительно в унисон. Только песни эти уже забыли мы, потому что были они легкие, как пух, и улетали в небо, как снег, засасываемый в пылесос. Дело в том, что на кухне провода оголили мы, и долбануло нас, так как мы есть, среди зеленых деревьев, и в анекдоте про БГ Виктор Цой, золото на глазу голубом, в горизонт.

VIII.

Только Ден Мороз вернулся, как мы стали с ним играть в шахматы, он играл еще на гитаре, а я его накормил. Только он пересек Памир на границе с Китаем и лихорадкой особенной меня заразил. В лихорадке мне пришлось два дня проваляться, и я выбил оставшиеся двери, и спал с раскроенным окном, и только тут немного притормозил. Через пару минут после дикого торможения я оказался на кладбище Новодевичьем у Каменной бабы в Москве без синеньких бахил. Обошел я крепостную стену в шесть утра и купил почтовые марки с изображением

Девы
Марии
и Пятницы
Параскевы.

Однако вместо этого, того, чтобы узнать, как в карты шулером выиграть у игрока в словесный тетрис, я решил, что лучше бы мне довести его до бессонного бдения в течение двух суток, до белого каления, но с ним ничего не случилось из-за этого, не вполне, по моему мнению, не вполне он утратил рассудок. Потом мне сделали там лоботомию, и, содрав кожу с креста и нанюхавшись роз, я увидел, как болельщики конские и мясные давят *вас* ногами, как личинок бабочек и стрекоз. Но тут, конечно же, появилась хрустальная девушка из племени нивхов, у которой было три солнца на небе и совокупленье наше, как брата и сестры, в ледяной Оке, я, ни разу не изменив тебе, Нюрочка, оказался вновь в машине, в петькиной «оке». И Петька повез нас с тобой, Анку и Василь Иваныча, к аленькому цветочку, который называется мак. И из его тычин раздалось пение ангельское, только мы попали впросак. Потому что, съев почтовые марочки и положив беломорину на Каменную Бабу, которая бы в люльку уместилась и была меньше твоего, Нюрочка, локотка, Параскева Пятница вместо

9-го на 13-е случилась, а вернее, на 26-е, и вывела меня из этого мирка, из этого бардака. Мы умрем скоро, как в книге Виталия Бианки написано, в тот день якутский шаман, старушку изобразив с костяной ногой, нацепил на спину куртку с козлом, перевернутым в пентаграмме, обрюхатив меня вторично, окормив меня жабой и наоборот объявив остановки в метро, выпив весь алкоголь. Не дождавшись Искупителя, я пошел помолиться в храм, и тут возникла иллюзия, как и все, рассказанное здесь, как мне сказала с того света шлюха, разбив телефон, как будто расстались вчера, у меня случился выкидыш, и я забыл все слова, в том числе и твое настоящее имя, любимая Нюрочка, Полечка бессонная, которую унес Сатана.

IX.

И, увидев это из беспокойного ящика, Владимир, раб Божий, именуемый также Богою, которого поставили на памятник вместо Ленина в программе фотожаб, проснулся на печке, содрал с окон рогожи и на вокзал прямиком побежал. Там вскочил он в скорый на Землю Святую, чтоб открылась до дна Храмовая гора, и расцвели большие душистые цветы на ранах *Твоих*, и перестали наступать последние времена, которые всегда наступают, когда кажется, что кто-то лопает козинака жмых,

и наступают последние времена. Там действительно при его неожиданном появлении преклонили колена, выкрученные до локтей, побежали навстречу Боге с голосами елейными пятьсот тысяч новорожденных детей. Он тогда подумал, что все вот откуда же, тайн столько и имен незнакомых, а без человека им окно не открыть. А меня пока прикололи иголкой бирюзовой к яхонтову шпилю на входе в светлый град Ерусалим. Но я откололся от яхонтова шпиля, и вновь увидел в беспокойном ящике Владимира, который постучал мне в окошко поутру, а я и не спал, и вот уже неделю беседую с ним. И Владимир назвал меня по имени, еще целую неделю разговор этот продолжал. Он не мог заснуть, не мог спать вообще и просто просил немного послушать его, и он рассказывал о своем друге, который сутки бежал тайгой из больницы-тюрьмы, а потом всю ночь у него прятался и о помощи просил, спасения от чумы. И еще много такого рассказал Владимир, отчего конец света по календарю Майев наступил. А мороз сорокаградусный, что сраку не почешешь, держался и все живое тем временем умерщвлял и косил. Но вот наступил новый год, и, вышедши из своего ужасного состояния, Владимир заснул и неделю проспал. А я, как рыбка, бултыхался в аквариуме, трясся весь и руками дрожал.

X.

Вбегаю в метро на станцию как пятно родимое, наступает при́ход, и тут же приходит мне кабзда. И прежде чем в меня пальцем показывать и тыкать, послушайте, я про время еще не досказал. Время — это такое тело мертвого, голое, без креста, в поле лежащего в штанах. Время — это монета затертая, сколок, на которой впроголодь портрет не узнаешь впотьмах. Время — это то, что открывается, как воспоминание, и сбывается раз, но это обман. Это виселица, каруселька майская, в которой мертвый ребенок выпал из стремян. Время — это когда ты думаешь о приходе мессии, так, как будто он уже пришел и наступил. Время — это озлобленных два кретина, из которых один другому ноги от армии откосил. Скоро кабзда мне, скоро на выход, но остановки никто не заметит, потому что ее не произойдет. Еще это время называется при́ход, который никогда не придет. Но прежде чем заклинит еще раз фазами, скажу, чтоб не лезли из кожи вон. Ограничусь одной, заученной фразой: время сломано до конца времен.

XI.

Было много всего еще после этого, девять месяцев как девять дней утекло. Как скелеты плясали мы со скелетами, и котлеты жрали с ногтями, и пили компоты с конфетами, в Новый год и потом еще в Старый Новый год.

И сегодня, числа 11-го месяца Хонды или Тойоты, когда кто-то умер во сне опять, побежали через дорогу перебегать пешеходы, и стали кагбэ под машины сигать. Мне легко так стало, наступило годовалое, небывалое определение времени по часам, обмануло стрелку большую и малую, из-за которых нельзя не спать небесам. И теперь хоть и было вас две: Нюрочка и Полечка, и кого кто унес, и как именовать вас теперь, позволь сказать, что я вспомнил теперь, как открывается полюшко-поле, твоя пещерная летучая дверь на хрустальный корабь. То есть я знаю теперь те слова тех песенок, которые забыл только якобы, потому что в голове был озон, а в горле земля, кровь и вода. И из потопленного корабля, где страшный полк глядит глазами удушенными, открытыми навсегда и застекленными, я уберу снег и побелю черновой экземпляр для тебя изо льда. Нюрочка, Полечка танцевать улетела, глядя на виноградные прутья «нестле», которые ломаются, как ветхое тело, и сгорают, как феникс, и родятся в *твоем* новом сне. Там вновь встретятся вместе земля и небо, перешагни через тень, умиления слезы пролей. И глаза мне не жжет больше болью весеннее спасение, раскачивая сломанные качели, что давно улетели и вернулись, ударив меня сзади по голове. От этого слегка ошарашен — задраивали же люк маршрутки с размаху между висков мне, и ничего, волок

автобус, троллейбус, трамвай за ногу меня и маму мою, мамочку, мамашу. Нюрочка, здравствуй, здравствуй, Маша, доброе утро снова, спи спокойно, баюшки-баю.

Часть вторая. Жигуленок «Москвич» и зиппо на джинсах

Наталии Азаровой

И вот перед ней воздвигся полуостов Пиренейский, прооперированный я ей снова говорю и матюгальник не закрою от лица индейки, холодной мертвой турки-на чаю-кофе заварю. Прошлой весной, переходящей в краснознаменное лето, влет убивали мы мух с Павлом и Димитрием и пообещали не забыть покрутить котлеты еще раз на твоей вечеринке-е на поминках Велимира. И вот сегодня, когда с гремлином Костиком гонку мы смотрели, и он на визит ночной с поклоном побежал к своему другу, который жил в квартире напротив, но не дождался его у дверей, хотя тот долго стучал. 100 лет назад, когда не было ничего вообще еще, а сейчас вообще уже двести часов, он с другом тем из дома сбежал и срубил цветок клевера вместе с поварским украденным ножом. Этот нож, воруя сегодня, как мы с Пабло думали, он в коротком забеге хотел только, чтобы оттрубили по всей округе его на площадь Трубную, с гласом базы овощной медленных процессий нательных. Я тогда достал зонтик марки «Айртон», просто «Айртон», а не тот, что, между нами говоря, был когда-то хайратым и брюхатым и под спотыкач твой волновался зазря. Он не хотел, чтоб ты упала, чтобы

ты пропала навсегда, и в его глаза залетела каска заревanная и дырявая, и пронзила мозг молния налобного стекла 22-го числа месяца сентября.

I.

Тогда, когда затрепещут синие молнии, возле фонтана в замке змеи, я расскажу, как с Димитрием Павел над морскими волнами плавали до Гаваны матросской, как старшины тишины. Было это в те же даты, когда Дмитрий Сергеевич, мир его праху отрясти с моих ног, в общем, с Лихачом прятался в лихорадке сенной, как змеи в овсе-на, на расстрельное утро сберегая патрон. Было это тогда еще, сто лет назад давеча, когда носители всех имен на измене сидели, голодая припеваючи, было так и будет с кончала времен. И не того коньячку мы выпили, что чайником нырнул по голове тебе без, без близнецов, без родни, без зубцов, вообще на Юпитере, которого «Аполло» не настиг в водосточной трубе. Сегодня прочти новую сводку, Бетти-шлюха, бикфордов шнур в говне, про то, как прибило дебила обухом, или, проще говоря, ничком по голове. Завтра будут новые моторы, которые давление тебе пережмут, на шее сдавят руку тебе и твоей валторне, и это будет жиги нефтяной жгут.

Не сеют они, и нищие хлебают по хлябям и, засыпая, врезаются в столб, а потом еле глаза открывают,

вырывают и ноги от земли отрывают, лучше спрячься в норку, за заслонку и мамке в подол. Они никогда ничего не забывают и утреннюю скатерть расстелят тебе на столе. Решишься ты ума или призма, которая является правильной призмой, расфокусируется и как курочка поклюет, сегодня ты попрощаешься с жизнью на обалденной тризне, и кровь твоя, как молоко потечет по губе, вдовка сирот.

II.

Муха, клянусь, как под полнолунием снежным, я десять лет назад въезжал в троллейбус, зацелованный в обе щеки. Так за календариком детским без одежды слюни бомжу стирал, лохмотья срывая с руки, подсаживая его в вокзал. Так мы с Германом осенью серой 05-го, когда целовала Ягиня моя пальцы холодные озимых статуй юноши питерского, а Марсела мыло ела, как косточки берегини, падла мастевая, сука из Витебска. Так и сегодня, зажжа берестку, бедного в сны рыцаря провожала Луковка гранатова, так рождаются скоро мои сестрицы, а мои сыновья становятся как палата рогатыми, и оправляются праотцы. Так Первого мая, поедая пасхальную луковую шелуху, синие пирожные ели мы с мамо и татко. Так тарабарскую утреннюю залепуху слепуха выпрыгивает из рамы на Мосфильме — вам и не снилось, парень.

Этот юноша — мертвый актер, бабка-огнетушитель спешит на двор, где только кости, кости, кости бритые, бритые, бритые, как в мавзолей я захожу, разбивая витрину, и истлевает, чем глубже в гипнозе кенозис, в маслине Soleil, в подсолнухе семя. Так в черно-белое домино передвигая и шелестя, песьими, синими, лисьими Модзилла в куртке губаме, Андроников рассказывает мне о моей покрашенной оранжевой батарее и потолке, когда мы пошли за грибами. Это судьба, говорит мне Софья, знает она страшных черных женщин-убийц, у которых умерли дети. Краской синей эмалевой глазируй под засолкой, под парасолькой июньской, таких матеря мастериц, у которых вы не были где-то. Помнишь ли ты, муха, как с Германом мы спустили с лестницы, покатились на санках, но вытащили, как в 06-ом, второй раз старика от паденья на рельсы, как бежал я — был нужен прыжок, и осанка осенняя за самолетом гоняться с ослабшими пересветами, тарантас. В Пулково, в Пулково, в Пулково розочка огненная лиса пляши, язык высуни и умолкни, молчи, тишина гулкая пустотелой статуи лампы луны.

III.

Зенитным топором рубили и гробили хрустальные тополи и их зеркальное отражение в прудиках. Может быть, время, их так подсуропили, может, мечта о Европе, что

отрезали самые ломкие прутики. И в огонь бросили с треском, и сахарной стекловатой в легкие с надсадом, перевернули и поставили вертикально все скамьи пятидесятилетние деревянные, и вместо них посадили поляны пальмовые из зоосада. И за оградками чугунными рассекли, как секатором, все секции, отшибло депутатам вертикальной проекции, и комариной сеткой невод закинули, и замкнули пальцы в розетку, в сексту и терцию смятую. Так, пробегая через ворота магнитные и марганцовку поливая на раны, я со двора на «школьнике» с зубодробительной дрожью бежал вчера от ресторанной охраны. Зачем же тычется на твоем ланцете фальшьбросок флеш-цурюк, электрон ловя дернутой мышцей с берданки. Бредет мой невод lover лауданум, бурдюк, как контрольная работа по алгебре для Софьи Чердачки. Видел ее также в 06-ом году возле памятника какого-то в госпитале, или как рука Валерия Чкалова в коме АССР случайно издалека, и приехали в этом году из Питера незваные гости, и я от них обрусел в «мессершмитт» несессер. Женя с ожерельем созрелых глаз перламутровым возле кинотеатра победоносикова камарра, и Сашка, висящий кажное утро на жгутах, с небоскреба на небоскреб переносится с соседнего двора. Небоскреба на Охте, охота на лисичек, и синявок, и рыжиков, стройных морозных лыжников сверкающий сабельный полк, — так обруши-

лось зеркало иллюзии, которой нас отмотыжили, отмотали назад и пустили в расход Remote control. Раз — не пидорас один, а если двое, то с горы по балде хуйнули тебе в пятку булыжником и грязью, и ты утонула в промоине, а сейчас пляшешь огнем на киргиз-кайсацкой орде. Песня барсучья эта, когда прозвучала, ты со станции со спутником связалась. Но я заблокирую тебя и начну сначала, потому что новая жизнь затаилась и звездочка январская уже зажглась, как оказалось. Беги куда-то, хоть на огне зиппо, гриппо пляшет и жрут гимназистки аспирин. Свитер мой синий, синий свитер, тебе в лоб швырну мой заплесневший инеем апельсин.

IV.

Кино здесь глубже, говоришь, шатает вывески дождевые, жестяные и норы лесных зверей, намнем мякины синей помесь песьей и лисьей поры моих граблей. Слабеет жаба, давит бронхи, и только гайворонок звонкий улетел, чиж под пыж и джигитовку перестроил, слабеет облачко и дымка. Луна встает во всю свою силу, и наливает тебе крынку, и отворяет у бутылки новой крышку. Пострел поспел, прострел парализован, я забинтован среди потерях. Как в Новый год имбирный нарисованный, Миллен, ты не нуждаешься в поводырях. Твоей дубленки жаркой ветряною пещью и готовкой,

духами смехом даришь, до квартир доводишь и в ночнушке осенней, как в пеленках, медузой выбегаешь на лестничную клетку. И хереса-ирисок шираз звезданул на Новый год, когда воздвигли армянский крест, и то был первый сладкий мой глоток. Ты сбрасываешь ватную сахарную солнышко-щетину, и я не знаю, как твой волос порыжел, как в огне молоток. Как аварийка пробежала мимо и красно-желтые напялила трусы. В постели твоей, ломака, гамака, гамаша и кощейка, сегодня обнаружились Джексона часы.

V.

Как летний дождик рано встал, послав вам вновь охапки роз для рожениц и прочих ружечек для белошвеек, от белоручек наругался надо мной слезами майкла мой невроз и пролился по лужам на вокзал писавших синим авторучек. И я хотел попасть в отруб месяц назад, но напугался, что задохнусь и кончусь, и на середине кормежки с ложки меня покрасят серебрянкой милосердия минжор мизером предсердия домов презрения. И был бы короед жучок, и книжный жук, ко мне заползший, как мойка тряпкой твоих рук, сверчок цветочек из картошин, Fuck Zuruck. С моего черного циферблата повалятся белым снегом твои бесчисленные лица. Сварил себе в мундире суп и ел его как древесину, и ветер огненно зашелестел

над маковкой церквушек бледнолицых, и повеял из лесных кладбищ, с полей и с нив, сшившись, повеял ветер только на пустой земле, где вы как измороси грезной и бризом, бреющим ладони, стирающим пятна родинок со лба родимчиков с макушек, огнем мне, Макош, выдь наружу и закрути миленку кружик. Вираж им врежь, ломая стадион, бросая пластиковых кресел в огонь, в огонь, в огонь, что был как выжига болезен. И ветер-суховей, в самум заглядывая, превращая рахат лукум в рахит лагун, и «голубой луны» резинки для дубины на блинах малинки. Дубочек желудь золотой носил в кармане ежедневно, и каждодневно мальчик молодой в платок сморкался синей спермой. В лесочке зонтичном морозном я толкался с тобой под деревом и в рот совал твой алый, глаза твои сияли, как любовь, с балкона сбросившись с пижамой, фижмой, фиалкой, исполинской жабой, ушедшей вон из-под джеба под жабры.

VI.

Вдруг ливануло, когда мы выскочили и выковыляли из театра, или в сумерках летних холодных туда только подходили. Словно плевра отдохнула, и смачно плеванул я в глаз петушьего сна боевичка-снеговика йопорного чопорного театра в фиакре на Пикадилли. Там, на сцене, куда мы шагали с мамой в розоперстовом, и ру-

биновом, и черном, на кочерге с волосами как осенняя солома. Там сулема, там шло, теряясь и терзая, представление, и журналист из телетаблоида вдруг оказался попай лысой морячком — там сверкала траурная процессия дьявольская в серебряном и черном, и на люстре в вышак болтался фальшак голосов дохлый и большой. Там прозвучали когда ноты и слова обпопствол пидер и вполстакан, я вскочил и стукнул креслом так, что вздрогнул лысый команды певичек лидер, а зал зашипел, засмеялся и проспался. Выбежал я из собрания нечестивых, что козьи песни свищут, как соловейко золотой под луной, и кинул ботинок в ваш лысый телевизер, и разбил его, Блонди, об твое табло.

Блонди, ты любила короткие, как у Кортни на корте, майки и длинные штаны, и была ты большой и с душой, и ела ты все время все той же сахарной ваты кило, и глаза твои сверкали, словно вот-вот придет Рождество. И когда ты замлела, размочив пальцы, слюни пустив, вдруг блокиратор на холодиле, как на льдине, взорвался, и саму тебя посадило на помело. Которое, как сетка, тебе бы чулок — подошло в магазине розовое, не проткнешь, оборвется крючок. Но ты любила больше джинсы широкие и синие, и любила больше всего оперное перо, и синий мне на головку накинула чулок.

VII.

Ты была коноплянка и пеночка, ты была далеко и жила в квартире большой и московской, где в пять утра просыпались далекие гости. И ты хорошеешь с каждым днем, как холодом дыхнешь, и я поцелую твои локти. Ты, о, оранжевое суперлуние, до опупения тебя провожаю я домой в первый раз. Как под столом, накрытым одеялом, началось шевеление, и стоит Нуррис твоя с чадрой на глазах. Конни, Бетти, и ты, Лилейн, я помню вас хорошо так, как в первый раз. Это ваш шепот, щебет и щекот, это ваш хрустальный с кровинкой глаз.

VIII.

Совушки мои вдовые на горящих матрасах, как на пружинах электронного Джонника, подпрыгивают, пружинят мне и поют. Стреляет электричеством, гомонит и горит кинохроника, как целлулоид, и весь морской флот, и мокрый хвост. Ветер свищет во все дыры, и все вальсирует билеты в театр, в кино, в Луна-парк. Сиротина хворостиной порет козлище, вдова купорос медвяный проглотила и жует анфас. Жемчужное ожерелье, каша-перловка, по трезвянке над озером погляди, закоротило дожди. Мне так стоять оказалось неловко, чтобы ты вся была, как моя жизнь впереди. На трезвой тризне катарсиса не протолкнуться, катафалки над катафотами и киоты рисуют,

и бьют в глаза прожектора. Мы с Романовским глотаем кофе в «Алекме», мы с Никки пляшем под майской шторкой твоей на Гоголях и ходим на головах. С новья Света и Тема целую в родимчик, всех наших с тобой, бремя мое, детей. Умничка, мальчик-пингвинчик, который превращается в петуха, на бошку крагу красную резиновую надев. Покатайся на корточках, умори под машинку, лысая блоха, и смотрись в зеркало и скажи, что каска пролетела твоя, ни петельки не сорвав, шпаги над головой не сломав, никого не задев.

ЖИГУ ОЛЕНЕНОК «МОСКВИЧ»!

ЗАСТЕГИВАЙ ЗИППО НА ДЖИНСАХ!

Я ГОВОРЮ ПРОЩАЙ НИМФЕ ЧИКСИСТОВ.

Нулёвое окончание

Песнь третья, сиреневая

Ирине Шостаковской

Умиравшим от страха так хочется жить, не пред собственными глазами, где за сто лет неделя прошла, пассатижи сдавив на розетке из проволоки вшивой, обтрясая рыбу о Бискайский залив, пока служба не подошла к справедливым. Онемевшим от мертвого сна так хочется встать, и тела не шевелятся дотла, дотемна, до потемок. Только дух водит перегретым на небо лететь и в жару застать осеннем мертвое тело старика, которого не воскресить никому из потомок. Только от прорух и выбитых челюстей домов того паренька, которого ноги сами начали уносить в закоулки, так, за десять лет впервые выстроились свадьбы и похороны, даты и годовщины в почетный караул, как на параде планет назывные угроханы, а названные ищут в горах аул, где наездные метают ножи и взглядом убивают в упор, черных штор занавеску обдирая с обоев заколоченной двери в четырех стенах, в лямке топор, на персту наперсток, живые глаза обрисовывают никакое существование всей жизни, наступившей на страх, как на ухо. Рассечение черепа, оказавшееся сразу в четырех комнатах, на стадионах с концертами наступающей зари, истерики вымученной, завернутой в тряску

одеял, посмотри на север, на юг посмотри, стой прямо и падай ровно, оживая от мысли, что ног нет в штанах, сушащихся на вкладыше I lóve you. И, починяя обломанные стены, садись верхом и беги по коридору, не напомнив ни о себе, ни о ком, в марте наступившему Новому году. Что еще сказать про то, что нас больше нет, на больничном, на штурме поликлиник, пьяных больниц чумы, то, что нет больше петель для топоров, нету больше тебя, пророк Магомет, нету лежбищ для котиков на полстранички, нету штопора, нет самолета, только вылет воздушных шаров, да туда, где нет даже озона и невесомости, бессильного сна, нету города Маймы, никакого города нет.

Только все осталось по-прежнему, первая минута ускоряется за два часа, а последняя просыпается в шесть утра, позолочена Лотоса взлетная полоса, рухнул сон, и сгорели все числа и столбики, перепонки и буквы из заброшенного за голову ведра, и степные курганы устроились прикорнуть вовремя. Золотая пыль фотовспышек, город, вынутый из ужасного шторма, это водка «Маккормик» и пасека вышек за полночью. Но покамест мы рубимся, изнеженный водохлеб, выжимая лилии смердящие и газы черемухи, вечный хлеб ячменится, целуя горло взахлеб, в усыпальницах тех мумий, по которым мы сделали промахи. И пока колосится смертельный

январский день разверткой в ослепительное пламя стрекозиной братвы, мусорную корзину поставив на голову, ты шествуешь мимо бывшей «Черной вдовы», мимо новой белой вдовы, мимо цирка уродов Москвы, и я зажевал только чешую нефтепровода. И в каждом сельпо на свете серп Мельпомены поминая битыми менисками, я хватаю яйцо горячее слоника-птички, в морской пене рожденного одессита с двумя пустыми бензина канистрами. И тогда вспоминаю я каждое четвертое Рождество, что был сон на горах, по которым мы взбежали, прыгая с лавины на лед реки и обратно на новую лавину, как ночные бьются во сне в лампе джина мотыльки, оторвавшись и съев часов черных белого дня половину. Только время ночь, только солнце равноденствия и второе полнолуние уже за неделю, сей свой сон синий, в оторочку замотав шарфик, снятый с моей головы, и младенец, хватающий тебя за шнурок, Медея, в парке, где только листья травы, приклеенные к асфальту безмозглому, холодеют. Задувая свечу над трупом, в каморке болезной матери, в шифере кровель обломанным шагом ноги ставя в провал, авраамической кинохроники предъяви нам в отпуске на кровати, в пенсионном бальзаме и начни свой новый безысходный и радостный карнавал.

Что было до, что после, отразится на экране годов, которых не два с половиной, а втрое больше, чем се-

меро одного не ждут, каждый год случается одно и то же в один день пустой, беззаботный, и вот, так я его с облупившейся кожей, сбегаю со сломанных перил, только позже и еще попозже. Позже, чем родничок засеребрится сединой и плеткой волос и загорится плетением чудесных мошкариков знойных, изнемогая под снегом поцелуя взасос, что унес за собою беспокойный покойник. Что садится в машину и в то же время жалобу пишет на то, что Бухара и Сахара ему не отвечают, взламывает льдину хребтом, и балуется как ребенок в цирке шапито, и ответ на письмо всегда, о, всегда, получает. Если встанет со стула мой инсулиновый сын, инфузории испугаются, как одна уже испугалась, и останется с ней кто-то один на один и в лодку погрузит, пока кромка льда на губах обнажалась. Так, в индийском метро видишь пирамидальные тополи, прозябая ночью под клыками мертвого двухместного мамонта, рушащегося под соседями сверху, ты выбираешься, и едешь в затон, лишь ударив палец о гиблую и красную стенку, в домотканом пальто, и греешь синей лампой памяти ушибленную коленку. Так, в предместье шапки скинув с обдолбанных голов, все садятся в такси и маршрутки под пение, пение в переносном смысле, годовалых и голодных котов, перекормленных таблетками, потерявших последнюю венку. Так снимает с твоих площадей, гонщик, укутан-

ный в плащ, плюща и мирта, запахшего волчьей мочой и мазутом, ты бросаешься в зеркало и ловишь во сне потлач, кроме шуток, вот уже более 15-ти суток. Так, раззеленя садочки, ранку с зубного мостика, моя мамка с кистенем в шапке шушукает и на костяной ноге добегает до солнышка на востоке и западе, так, кунштюк сняв с носка, в платочке пляшет барсук, в кровостоке и в Белостоке, и, в общем-то, в ахуе. Так садится в рыдван электрички гитарист с седой бородой из подземного единственного перехода и за пятаки пять деревень покупает, так от пяток сверкающих из реки управдом, как утопленница задумчивая, мимо спутника твоего проплывает. Так, с умершей земли исходя седьмой год, из-под камня насупленного перекрашивая рекламы, поворот солнцепека кладешь ты как временный жгут, пережегший себе все автомобильные травмы. Так взрывают петарды под вечер, каждый день в один час, там, где кони скакали и дрались прошлым летом под фонарями, от разборок ваших мне умирать невпопад, жизнь, стоящая третий день под глазами в глубоком стакане. Треснет ли твой граненый стакан в этом году, снимут с поезда и повезут в холодильник, я не знаю, потому что у кого написано на роду, это глубже земли, как рептильный репейный будильник и знамя. Мертвого не оживить слабым телом осенним и продувным, может быть, стоит жить лишь за то, что

кто-то многое понял, возвращайся живым, с того света возвращайся живым, бесконечной дорогой в «восьмерке» летя на балконе. Подоконник, обосранный птицами, линия «Стриж», черная сетка грачей собора последних лун, дай мне запястье, или, Юра Юркун, у крови воркуй, как Париж, как племянник, что вытащил из реки невод нашего прошлого счастья. Здесь не будет игры и стрельбы, тихо, глухо, как в гробе, в столетье если ты уложилась и не вернулась пока, о тоска моя, бабушка жизнь, я поверю лишь только тому, что гопака одноногого узнавая, как лажу и сажу в мокрую стынь, ничего никогда не сбывается, ничего никогда не бывает.

Волосок упырька, и корона собачья, и корыто разбитое в сказках, в водолазках, наоборот, развернет это новое старое, 70-летнее блюдо, кто идет, кто стоит, кто ползет через свой огород, кто возделывал сад, а кто виноградарь Иудин. Раздувая духового оркестра заскорузлое колесо, вынимая из пачки металлического «Беломора», я плюю на ветру и жгу папирос ядовитую эту смолу, прислонившись к стволу дерева, что не облетает корою, и в стальном скрежещущем спуске глубже шахты, глубже метро горняки ничего не нашли бы, ни золота алхимического, ни разворота газеты светил, только если я убил бы злодейски тебя, о, веревка из свежей пеньки, и под виселицей бы проснулся вновь этого бесконечного если. И удерживать

грезу на ширине плеч, в стояке непрерывном на марше сумерек, Запорожская сечь, стран Полдневных, если б умер рок и если бы съел всю картечь, легкими неживыми осязая пол облачных неба. Где земля, там и я, а где ты, отозвавшийся бойко, где эхо, кто слышит, кто поет — только звук комариного писка, никогда не умрет над болотами Севера, словно язык василиска кусающая одалиска. Я стою, ты лежишь подо мною, как пропастей ряд, только словно те, что угрожают нам облавой простуды, и обломами кинешь ты кони, патрульный наряд, и прикид на цветущем от запаха почек балконе. Это завтра пускай совершится и произойдет, если год за неделю и если в секунде столетье, небожителей грязь, как из глаза камень, спадет, со слезою росистого утренника, в ё-моё междометие, действуй!

Перемену квартала, два сна со цветами в зубах, перекусывая на ходу провода и снимая цепи пехоты, с пахоты мирового и с пьяного богомола кулак лишь стучится в разбитые тысяч глаз разнесенные стекла курорта. Доктор Врач, Доктор Врач, Доктор Врач, почему ты теперь меня старше и родишь скоро внука, ну а я не сойду с чепухи оголтелого пуха и с министром Мистраля дружу, как пойму, что теперь не теперь спит Вселенная та же, виснет как нетопырь, с отрубленным слухом.

Я спущусь в лестниц бред, никому не во вред и навряд ли что скоро, ниже адского пламени, ниже во-

рот Сатаны, ниже выбитых настежь ворот, из тюрьмы подземельной в другую большую тюрьму-нах, и орехи Нух-Нух из посконного стойбища рвот, и из скорой весны, из чудовищного Пополь-Вуха. Я спущусь той же лестницей, город весь растворив, лишь с твоими живыми руками, что держат в руках мой рубильник, что как солнце, как дыма клубы, как восторга касторка, как циклоферон камнепадами, донышком подзатыльник. Прорезая поверхности скошенных нив под уклон, продлевая проблемного дня боль из вынутой комы, пломбы солнц восьмикратно пробитых звездных чащоб, словно огненные руша вокруг катакомбы.

Городя города, словно в ножички, мертвых пчел и мух сонных, тропиков и муссонного климата, вы увидите новую землю, лишь как зубы, посеянные в поле могильниками, спустят в Иркут, unlimited, и instead и зареванных тревожных будильников, я как кисельные берега вам не внемлю. Невменоз, страшной мороси ход, гибельных кос зареванных лунных дорожек, сполосни, дед Мороз, дед Жара, череп назойливых ос, ознобишина и обложек дырявого смрада встревоженный подбородок.

И растаявший изумруд, как умрут в нем и сплавятся по дорожке ходьбы, в чечевичной похлебке, у старого сонного шпица, со шприцом молотьбы, с Христо-

вым шприцом голытьбы, я не знаю, Австралия вам или Ливия снится.

Ну и лыбиться будешь, ущербный, конечно, не так, не абнормал напасти и притолок Козерога, отломившей с горла и рассеявший твой «кадиллак», Элвис Пресли, в наших бессчетных сугробах, от суглинка и устрицы, усмирив голубям бешбармак и не приняв сыновнюю злобу обратно в утробу.

Я тебя не успел проводить, но спровадить уже не могу никого, потому что здесь нет никого кроме нас, и по-прежнему в комнате двое. Только всадник и тень коня, только покойник с звездою во лбу, только воющих мачт корабли циклопических Вия и Цоя.

Как по проводу ток, как поземки осколки к земле, не на Новой Земле и не в Астрахани масхада, на Восходе 15 и, может, еще кроме где, не найдете вы однажды больше восставших из ада лет двадцать.

Песнь четвертая, неизбежная

Елене Горшковой

Здорово, мясо! Из пустоты вынимая скелет с рыбьим хвостиком, человече, ты идешь и ищешь только погостиков девичьих. Где привалиться в овальную общую яму, возникшую в антикварной и аптекарской тишине, памятник милый омывая дождями, неделя идет и за ее

семимильными днями с неделей, чья нянечка судно несет в золотую подлодку. Из-подо льда и с испода развесистый прямо несут иней боевых единиц отовсюду-нигде, и заколачивают окна по всему околотку. Так, слезно оплакивая становье детей, с ранами порнографии войны, в которые поцелуем вурдалаки вцепились, кипеж за голодовку я поднимаю, погранцы, не затем, чтобы каймы платочка обтирать помыслы босых и простоволосых зефиров. Хоть рефери и боксер в какой пойди арбитраж, я спрыгиваю с паперти и блюю на панель понедельника. Завтра четверг, и каждый четверг у нас чистый, всю декаду — чистый четверг, вы отвергните ся, как я отверг, разгромленный гараж, овчарня с овчарками, овцебыками и пчелками, со страху до смеху отвергните.

Не до мальчиков смерть на петле пробуждения, срезанную бритьем, с ризами кинотеатра и снова в сестринском госпитале, невоспитанно пну обглоданную тушу оголтелого бдения, с нарождением дня и другими, как вы, дрыгающимися пулеглотами, за негромким ручьем, что смывает с себя пересуды, и когда в большой стук стучат, хлопая дверьми и заслонами, стук на вас и на нас, насекомые, удивленные птицы и настроения завтрашней, к счастью битой посуды.

Как сказать, чтобы было в ружье, и, попрощаться не успевая, вы бежите по крышам, ища ногами

следующий за домом обваленный дом, и машины дымятся перевернутые, и дышат мерзлою копотью. Бальзамической оргии, потепления синих птиц, из теплицы скворцы на Скворцова сидя, как на клиросе гном, гопоты не припомнив в назойливом опыте. И во вскрытия методе оловянного шарика при игре в морской бой, о, клеврет литаврический, реставрации исповеди Гоголя, адресованной нам с тобой, Чердакова с чумовозом крысиных планет, загорающийся красный свет под огнем отклони как жалобу, ковбой голубой, сияние двух лун, никого и ничего не трогая, укокошив всех мертвых вальсом Гамбии, в позумент теребя портупею всех лет с полуденным золотом.

Лет, смытых с мясом до белой кости родничка, что встает из душ, вкопанных в песок и не вкупившихся, уносите меня, дроги смены на свет Костромы, той тюремной больницы, красавицы неизбежной, которая ничья, и безбожной, жестокой и поезда душного, исполнивших и искупивших все, на санях с колесами по траве в Закопане, первого проконсула января, костистой заразной хурмы, зурны Тобольския, атакой на чешские танки, отбитой воинством польским без промаха.

Как короткий сон зверобоя с пустырником и бессмертником, убийственный взгляд отметает на пятьдесят метров по ветру баночку пепси-колы с пивом не «Медо-

вым», а «Зимним», забываешь уста из болота на детской площадке черпая сапогом перемены дня, сутолоку теней, коридор настроения, гармонию схода снегов и отхода вод, отвечая на штурм Зимнего поджогом летнего времени, быстротечного и быстролетящего, мимолетного пробуждения на карусели чертова обозрения, схимник.

Распевая, распевшись и город проваливая, кроме зуба башни ассасинов, и корни, что поддерживают пустоту, опрокинув, я выхожу навстречу ежу, выбивая пыль из твоей, маньяк, паутины. И как клещ в обсосах, в промышленной мгле, заводы, что делали стекло для фотоувеличителей, а теперь варят бутылки от пива, выноси вон гостей пресвятых из-под бойка часов Землежителя, в холостую закутав, в холщовую рогожку-перину.

И как Син — синей сын, ибн Абу Дауд косматый, капая яд на капельницу твоего молодого желудка, о, хрустальная дева всех рек, жуткого Саян промежутка, жесткого боржома и хохмы звериной, разорвет мой стилет, изобретенный самой невинною шуткой, твои пуповины.

В этой шутке помянуты из окопов всех ран, Временник, заживая с лихою ватагой мажоров дебелых, Коньяка Событыльник, объедающих мясо неземного коня целый век, объедающие тетивы берез, изогнутых ветром, посеявших стрелы, морозной оравы, отравленные, колючих берез мои стрелы.

И, как песню Патрокла напоследок пропой, неделю сжигающий великана в соломе говенной недели, посети все места, где от пяток сверкали ушедших душ, из лифтов зыркая по сторонам, не мяучь, не паучь, где кадык, глотающий выстрелы, из поступков проституирования, и мигрени ушибленных в уши, и пережатых опечаток с смолою и хворостом, со штифтов и штофов снимая печати, американам шлет свои вдохновения, быстрые, как четверг кочерги лупит вторник, как косу поганства пусти мои стрелы.

Я, Парис паразитарного микрокосма, подвыпивший возчик и птица Долбоклюй, мóя руки в горчице и, в глотку пихая тебе в первопуток, я пою для тебя песню лютого сердца болезной зимой и для полезного дела вновь не нахожу проституток, как в шубейке и колготах, уносящаяся в метро, краснорожая барыня Эос ночного кострища, я пущу свои стрелы, о Пэрис Ветров, на флажке отнимающая, как ноги, северные становища.

Я пою тебе Пэрис, как город под землю уйдет, из мясной скотобойни в овраге моем только школа, только школа и госпиталь только, над топью болот, протоколы твои подошьет и обломит об колено глаголы настолько веселых.

Только в ивовых прутьях, в горящем озере чад, лисопедным хвостом лисий шарф зажевав, помавая, так

из шкуры своей выходят на праздник медведя сейчас чингачгуки и чекинтосы, любимых своих забывая.

От поминок вербальных, от ночи живой отойдя и в отбитых мозгах отдавая эхом звездное небо расстрелов, я найду, о, Парис, испущу на тебя, как колосьев созрелых Зеркаль, как посмертное древо, как сталь, распусти свои волосы, стрелы.

О, Парис-Кипарис, одним словом, одним беспокойством застав среди снов, поминутного жеста маятник склоняя налево, о, Парис, паренек колдовской, винтовой, воровской, запусти в мои корни волос угорелые твои острые, быстрые стрелы!

О, Парис-живогляд, из витрины врачующего стекла, из-под дней подмалевок, полевок и долгих отлучек, и без случек с прохожими, верстовая морская земля, подыми надо мной свод отставшей по времени суши.

И тогда я ступлю, пяточку почесав в день Пятидесятницы, и совсем не из секты эсэссинов, чья школа стоит на горе, под горою глубокий овраг, сдуй с меня огонек, сдуй с меня снег инсектов, блаженных, невинных.

И как мусорных баков качание, как барбитурат, о, Парис, нагоняй на меня новой нивы колосья прозренья, я тебе буду рад и твоей стреле буду рад, словно пятка, гвоздем прошитая на день рожденья второго сраженья.

Песнь пятая, короткая

Станиславу Снытко

Среди настурций, полосатых, как кумачи, газовых горелок и ветряков, из окон поезда видимых в старое окно, уносите декорации, уходите, трубачи, унесите ветер и заховайте в тетрапаки обратно продукты, плачут кисти свадебного кимоно япошки, который говорил, что Москва на ремонте, в кино, начинает кастрацию единственный врач на всем самолете протухлом.

Эти газовые огни, эти облака, простреленные из воздушек, это треугольного города мгла как солярия для беспозвоночных, мне однажды сказала моя жизнь, что она умерла, и хвостами дохлых кошек обматывает рыбака, и не обращает внимания на очередной тревожный звоночек, с испугом вкруг солнца летающих мошек.

Собственно, по дороге в Мавзолей под ручку с молодым стариком, не забыть бы глобуса юношей и девочек белесого загара и заговóра, заговорщицки сунув ружье в дымоход домовому, вдыхая тлен улиц и воздух взлетных полос, я не думал, что буду тем пареньком, Сережа, внуком повара, вора, его жены и ее любовника из соседнего гастронома.

Этих легочных астр войны бесконечные дни, Хлоя, заболевшая от губной заразы горячей дудки, я несу и срываю в августе тут, где только хвоя лежит не-

живой, и могильная пена заливает рассудки квартальные сутки.

Я несу продувную рубашку на ледоход тишины, на Неву без тины дней твоих, Усикирко, и в кирпичной кирхе от кашля почти не видны обмороки нищих и львов вышины, лобзающих на теле пролома, оврага от пуговиц дырки.

И люпинов, по-волчьи занывших, закачавшихся в сорвавшемся с балкона горшке, упавших на голову и промахнувшихся враз, как сосуля во лбу, на позорном столбе, в аспириновом порошке, у понесшей косули в рогах со скарбом своим на горбу у маленькой и красивой девушки-горбуньи из Твоего лазарета.

И беспамятник, жимолость губ зубами сдавив, прикусив с перепоя, расстегивая пуговицы на рубашке, я в рассадник сифой голю рот открыв, перепутав все пальцы, перепутав ботинки, чулки и фуражки.

Не снимая только часы, влившись в сумерек ранних шпионские миражи, бормоча про себя все самые страшные клятвы, на твоих висках заплету все косы девах, поигравших в жмуриков прятки на жизнь, а не насмерть, на которых, испив купажи горячечные, расцветут мои квяты.

И от тела тепло, от маленького живота тебе, отведи взгляд убийцы, Распиздяев из Чайной, мне осталась

лишь хина, лишь хина, лишь хина одна да сангина, синих дней и белых ночей говенного пластилина, не спится и в Африке, и в Бийске встанет зубная плотина, без обечайки, без манекена.

Так, по капельке отдавая кислород, водород, передернув за горло оторву в высотке, я тебе подарю опять стопицот раз Гыргой Питичем сломанную говнотерку с вихоткой.

Я тебе, баить боюсь, ела мед в овшивевшем пиджаке, размоpенном от солнца ночного, растекается лужа твоя, как Апостол, в метро, в нужнике, и баскующих платьев твоих вешалка, начинается забастовка по-флотски, полундра глаголов.

В пиджаке моем на твоих плечах не сидит, и уходит в окровавленном платке «ты похож на Марусю», изгоню это имя, в прошлое, как голый гибрид из Сеговии, из Сегедильи взятой карусы.

Карусель, где кисель млека твоего и кефира, его виадук, на заброшенной реке в твоей лодке с лицом, закормленным с рук чьих-то птичьим вонючим зефиром.

И в то утро, хоть не было ночи и прошлого дня, Ани и Вани, Тани и Сани, Нюры и смарагдовой дуры, прочитай написанные кровью чернил на могилке забытой последний раз имена и исчезни, Зенит темени, тьмы, политуры, свекрови, халтуры.

И приди в первый раз прыгающей ящеркой солнечных батарей и песочных часов, плюнь мне в глаз, о, Млечный Путь матерей, о, умершая жизнь в ящике, в конуре-на.

Это ящик Пандоры и в нем сифон, вонь и смарт золотушных золотарей, твоя, миллионщик, гангрена. Так убей поскорей, изгони его вон на Джихад алтарей, на воздушную меня, на голубиную почту, Ирена.

Песнь шестая, непонятная

И как твой непробиваемый мозг положить в кошелку поселковой просеки, где вырубили все дерева, сколько снимков ни щелкай, сколько щелчок твой, клюшка, в кость, не лежит в мусорке твоя голова. Не лежит, не разглядывает, глазастик без блох, в паузах между зажевыванием Тобиной ленты, во всех фильмах снялась, и теперь ни жива ни мертва, отворяет уста, забрюхатив в ожоговой, словно Эленка.

Что о том горевать, если ты идешь на скандал, я иду на дебош, на диворс исполинских диверсий, португальский развод, или кто разберет, чем там пахнет, а пахнет индейцем, и развод караула в растворе, и в створ зашел взвод, о всегда, о всегда, благоденствуй.

Если мясо твое оживляется раз в полгода и заслоняет небо кетчу́па, помидоры молчат, и молчат шоколад-

ные разноцветные таблетки, из хрустальной оранжевой комнаты, той, где ложишься в постель, ты берешь и метаешь во двор табуретки, так выпой. То чекист, что стучал на машинке, то иной какой-то сосед, то Олень с притараненного волосапета так сипит, как отверткой, что ты пила, коростель, и пронырлевей бреда ныряет, киряет, кивает головкой с небес твой бред с небес, расплавленных в стельку.

В лежку, в ложку, в галошу, где твой парашют, что тебе подарил, прыгая с вертолета вниз головой Президенте Уганды, за тобой Кострома, в винтовой плюнув пролет, узнаешь ты вокруг себя только Сегун пропаганды.

И отрывисто пачками банкнот жонглируя, завуалировав все, ты жена Йена Кертиса, исповедуешься, как Дебора, а Дебора живая где-то лежит, с кем-то пьет у него на глазах полумертвых, у кого-то дрочи́т, о кого-то в дрожжах дождевитых, и Мария-Дебора выходит, как голос из хора, уторкав трамваи, корыта.

Ну и что делать мне, отрубаться не помогает, бесконечный сон над округой, над оградой твоей, скандалистка, сектантка, Виола, немочь все переможет и свалится вниз на подлозе с пиалкой убогой. Немочь все переможет, голодовка лиц твоих не убелит, от уст Эола, сломанная сабля летит собрания родителей новой школы. Ведь родители те, о уже, обсмеять умирающих бабушек,

неживая ракетница, фантик, с боку бантик пришей и щелбан получи в твою щель, словно с дохлым Лещем барахтаясь в подводной кровати, не меняя пола, не трогай.

Если это панк-рок, то до рвоты убели свои черные волоса и в кожанке выдь на Морском, из своей искусственной кожи подари нам еще четверых пацанов, и на улке вдруг услышь сразу все голоса, и под землю уйди, тля, под массой с изюмом творожной.

Где еще, где б тебя я видел еще, о ликующей оперы простыня обветшавшая, зема, я тебя забываю, как ты швыряешь бокал, где-то в воображаемое перекрытое, перекошенное стекло, о Зерцало зеркал, моя дрема. И тебя я умыл бы грязью, для которой не хватило бы кишок, у бараньих раздавленных мехов фисгармонии, ты теперь уезжаешь через подвал, перекормленной курицей инвалидной коляски, мышóк, как борзая, линяющая с гор за лисами Адама Кадмона во всеобщей огласке, Козерога не трогай.

Соу камон бэйби, бей-беги и, может, камин, а может, и камни, и еще камин-аут, я тебя изживу в колбасе мертвой тоски как голубиный кармин, и твоих театров как воздушные замки, корабли улетающие ансамбли и свинцовые дирижабли.

Песня строгая, джинсо-фирма, Трамонтан и Рамонс, Кактус-Фикус завоеванных территорий, взрыв

электростанции в Праге, землетрясение в Кузне, Камон, о Камон, о Вирджиния Слимз, о, Люцифер Ивана Драги, как всегда, ебанись ты, да снова в Советском Союз

Песнь 7-я, основная

Как Ундина в Мещере, всеволжские сны на потом ты оставь и тычься затылком в свою тюбетейку, как грузинку, цыганку, якутку тебя я вспою, тем пельменным наваром, племянник которого вам сказал о, иди-на покуда, индейка. Лишь одною дорожкой и прячь зуботычин старости ранней оскал, где ты снимаешься, мисс всех фантомов, я тебе говорю, ни разу не твой аксакал, о, беги, о, беги, ты напрочь, и насовсем, и наотмашь из дома.

Дина, он тебя трахает, спрашивал Цой в одном фильме знакомом попозже дня его смерти, так теперь поливаю тебя в лицо кулачищами снов от последней обедни, болезной, бесследной.

Из тюремных больниц получив больше, чем 70 песен, ты сказала, что все это бред, так поприветствуем же Пашу Цветомузыку и Музычко умертвие оголтело, так тебе посылаю сто лет в обед я привет и воздушный поцелуй, если ты еще снимаешься в этой фильме единой и целой.

Дина, он тебя трахает? Я любил тебя, но настало, поймало меня полностью ко всему безразличье. И что

образ печальный стирает носки, Велимир, ногу за ногу заложив, сидит, о, москвичка, о, пасека пахаря, о, чудо речное девичье.

Ты теперь как Зима и моей истории-тетки Татьяны, которой нравилась ты, я про речки молчу, и я ездил в твой Волгоград, не целуя тебя, электрической, во сне прошлого десятилетия, но я сказать хочу, что уже не грущу по ебальнику инвалида вторых и третьих повторов твоего Пресвятого Пришествия, как бинты, трясогузка и труса проклятие покалеченное.

Дина, он тебя трахает? он, чемпион правремен, в спартакиаде отошедшего горла от шарфа. Я любил тебя как ребенка по имени Но, как веселого зайца на радужке автомобильных разводов, Пожарка.

Я не трогал тебя ни за пальцы, ни за нотный стан, и только раз зацеловал с головы до ног, и это было как-бэ прощание, так в мещерских болотах не тормози свой Афган, своего израненного тела, свое кимоно, пилотка, молчание.

Я смолчу и спрошу тихо, он тебя трахает, Дин, я смолчу в детский садик «Серебряное копытце», как напиться, дочка богини Утрат, Урании клавесин, крепдешин, как напиться оранжевым утром и как не напиться.

Счастлива в Петербурге, умри, Бумбараш, Мальчиш и Паша-Револьваша с ебанутою тросточкой, как

тростинка, как дудка цветка, надо мной проплывет твой сквот, моя Прозерпина, опиат запоет, на Паскалевой досточке, о, мой Пелот, о, девчурка Зебина.

Целый день дозвониться не мог до побега еще с ненавистной зубной щеткой, а Ирина щетка десять лет у меня, мой беззубик-зубастик. Дина, он тебя трахает, перепелка, пелотка, заебись закрутил мударрис свой рассказ в тьме потемков, моя Хендрик Седина без свастик, ангина.

И как солнца Ацтеки, как Талибун, как меню ресторана, откуда десять лет слышится одна песня: Дина, он тебя трахает? О, извини, сквозь табун и ебун, я прохожу мимо старой «36 и 6» аптеки, моя Прозерпина лет сто или двести.

Песнь восьмая, последняя

Маше

Ы!, как баба Мария рассказывает то про чулок, то про иглу, воспитавшая меня, несмотря на покусы синеватых до красноты ее ручек. Йе!, как баба Мария рассказывает о том, что в тылу, начинай заводскую игру, от всемирного матча освободившись, взяв отпуск, обнаружив вокруг одних только старушек.

От брусники бруска до медведок медовых бредя по ночному болоту, в солнце утреннее хорони́тся твой

магазин от подружек, веснушек, морошек, дорожек, подружек, а любая праведная пуля любит, любит тебя, Мари, любит свой пулемет, как колодник любит свой последний костер и острожек.

Так я шествовал с шестого на двадцать шестого, запрыгивая через сетку мошкарную, ночную кошмарную сетку, лез в бутылку Затонскую, и тоску-печаль гнал по городу о тебе, домоседка.

Как посаженный Марией Яковлевной, еще бабушкой тогда, сад не исчезнет из мигания глаз твоих только, белый керосин, херувим, миру мир, самосад, самоотвод, самострел, и еще, и еще, и не только, спи с пиявками, наша пустая беседка разного празднословья.

Я пою тебе песнь на тверезую голову — на-на-на березовую росу алмазную глаз из магазина «Борзая Березка», за твою опасаясь будущность, козодоем пою напоказ, лишь ухудшив улов и прибой, гранулируя мужество и с твоим якутским замужеством, скользкая сводка.

С сеткой, сектой от комаров попрощавшись, от божьих коров отрекаясь, как домодедовские попрошайки улетают отсюда, принципиально никуда не деваясь, Скиданóм на бедро принимая в поликлинике пистола в джинсах, нахальный досыта и едкий, изыздеваюсь, монисто-намисто.

Если ты бегала в шортах по камеры полу, по жутким мостам, на вершину горы невдомек не взбегая, то на крэке кладбищ с криком диким, крича, кирпича в мою рожу техасского техникума, то не рыпайся, с головой в сеновал зарываясь.

Это повесть о Полечке, дикий штырь твоего последнего пацана, сиротина калитки, калинового моста ебанутка-Анютка, это повесть о Полечке, вот заплатанная Сатана, вот испуг перегона метро и его промежутка, ошибка его промежутка.

Я люблю тебя но, все равно не смешно чертям, а только детям и внукам, о, баба Мария, смешно, в тридевятое царство не путешествуя больше, иначе в ничто, топят комьями тя в глубинах какого-то Чартория, малютка моя полуночная, сутка.

Да, Мария Вецера, нет, или да, от твоих зубов тризну отпевающая пизда клыкастая музыкального слуха, я любил тебя но, я не хочу умирать как всегда, не увидев в тебе Мураша беременную старуху.

Так храни мое чадо, от домочадцев, от чадры, и от всех, за окурок с губы очередной моей запинаясь, я забыл тебя и заклял тебя но, есть один смертный грех, до сих пор как топор, разрубающий тя, в Розетту глазет замыкаюсь.

Я, ебись оно в рот, темноты не покинув, и ночи, и дня, и цепного пса, как не могла ты, однажды оклик-

нув, так протянется наружу поезда колбаса, ни за что, пятерня, никогда от тебя, никогда от тебя не отвыкнув.

И от радости как порося, словно темя родное целуя, из залупы коня, из требухи Нильса и его гуся, так открещиваясь от чертовщины, до сих пор чертыхаюсь, Маруся.

Я люблю тебя но, я люблю тебя на, я люблю тебя от, я люблю тебя си, я люблю тебя лишь до рассвета, а с рассвета, ломая ребро твоего Бусидо, о, бабуся, о, душа моя, о, разбившейся ласточки Дуся, ухожу я с этого света, нелегкая эта Маруся Соседа.

Кумполы поплыли, Волга, хлынь, Волга, хлынь, Волга, хлынь и замой на штанах моих следы Ойкумены, как выходит из Леты Ахилл, так на лето фуражку надень, так воспой его гнев, ну а я подплываю к Сиренам.

Часть четвертая и последняя

На голове стакан аэропорта, и это не ледовый дворец в анабиозе, по льду простертого не тронь, ведь он религиозен, да так, что и до черта. Пылает еропорт, и побежал средь улиц, как долго же я спал. И как я не могу, вязать кошмары спицею, сутулясь, и как обхватываю за ногу асфальт. О чем молчали вы, о чем молчали лихорадки, сентябрь стерся в перелеске луж, тех, по которым чапал к окнам без крылатки, тем, где лежал под солнцем ужас. Всю годовщину я проспал, теперь уж три недели, 21 день, а давит сквозь кишки, неотвратимый образ асфодели, лицо на животе и ручек колоски.

Теперь, когда в летающей кровати я ухватился за карниз, блюя, и в шариковой ручке-автомате, да и в крови уж ползает змея. Немые сцены, и волос движенья у лифта у метро сквозь коридор, я прислоняюсь головой на мира день рожденья, есть улиц Мира тысяча под луной-войной.

С моей волной на вас смывает дебаркадер, о чем зеленый глаз молчит, куда они глядят, в затылки треугольные из ядер, в горючий газ, в горючий газ оград. Отравлен плащ, отравлен птички клювик, и весь декабрь месяц заражен, нарядом, переменой, вымой руки и убери глаза мои на сон, фиалковым чернилом два лица мне,

одно на голове, второе в животе, я снова обрюхачен, динозавры, но то не вы, а знаете, где те?

В тошниловке и в памяти убогой, что завтра кто-то где-то оживет, проснется вновь и вытрет твои сопли об мой живот, и кто-нибудь помрет. Три фонаря на улице без глаза, три виселицы рядом, божесварь, на мне садится пыль, на мне зараза, на мне, я больше не могу смеяться про алтарь.

У нас обычный утренний делирий, слышны все голоса прохожих вновь, и говорят они все об одном и том же, гибель, все ободом ломается повдоль. Трехчасовые сцены целый месяц — где он, где лето, где была весна? Где это лето, перевернута газета, снедают буквы карачун без сна. О, лето красное, любил тебя за все я, но так предать, прошло 12 лет, предать вас смерти, что ли, да, помимо воли, предать предать предать предать предать и встать под пистолет.

Как бронебойный дождик моросящий, как жар у комнаты до потолка, для одной ночи, ночи всех неспящих, до одной ночи, что не коротка.

Часы действительно втроем остановились, да не в твоей постели Хлоя Хвой, как тяжело порой они родились и опоздали к пристани, пропой. Она спускается, толпа, потом в лесочке поставит эшафот, и баню, и окоп с могилой, из которой моя дочка выпрыгивает, как из облаков.

В грязи болотной, в сумерках кровавых, ты онемел, устал, счастливый сын. Молчание, молчание о нравах, молчание Саур-могил.

И кто-то раз вовеки целовался, с живыми кошками зеленые глаза, из окон прыгать нам иль задыхаться, притормози, уснувшая оса.

Остановись опять и оглянись обратно, кумир, обрушенный в зеркальный пруд. Франческо, Паоло, и это не канадцы, канатная дорога, срублен прут.

Мы не умрем, покуда, не стихая, не возникая сразу здесь и там, мы перейдем по мостику, Даная, но если больше, с Зевсом пополам.

Есть утренняя одна такая песня, про птичку зябкую, про варежку к щеке, про месяц, солнце, про луну и месяц с шапкою, есть эта песня где-то вдалеке. Короткий шаг, ватин, торчащий из-под куртки, про лямочку и в лямочке топор. Про сон и про большак, горящие окурки и гильзы детские в притвор. Летающая песня словно церква и алым пламенем счастливая капель, пусть месяц мерзнет, пусть луна померкнет, а пес издохший снова будет петь. О чем еще? про десять перелетов в Алма-Аты и в лес под Питером, с завязками ботинок стопицотых, и золотую пыль до дурноты без критики.

Про то, что осенью как будто бы не свидеться, зима вчера прошла, сегодня лег в асфальт, и с хрустом от

ресниц замерзших перемигиваться, и снова спать, и завтра встать и врать. И волшебство, что только на каникулах бывает, но каникулы прошли, вчера еще руками и ногами двигали, сегодня развалились и легли.

Давить диван с вокзалом западным, восточным ли, и сбрасывать, как дерево, листву. Вчера еще деревья ее сбросили на пороховую бочку и покатили ее, дали огоньку.

Еще вчера свинотными потемками с горячей и пустою головой, звенит звонок, сквозит по ветру, торкнуло, и вот опять бежит по мостовой.

Как от кобылы или от уазика, горящих глаз рукой не закрывай, туши пожар своей прохладой ласковой, не убывая днем, сапожки надевай.

А ночью, ночью, где чудесите, вселенскою, небесной, водяной, кусайте кушаки под аквафресками и ешьте бахрому знамен, как моль.

А ночью, ночью долгою, короткою, курносую, курящую, пускай бегут глаза как светляки, покуда вы от дыма только прячетесь, белогорячечные выпускники.

А ночью, ночью на 20-е, искатели, искательницы вшей, наденьте платье самое богатое и стойте в нем как тысяча свечей.

Какая ночь! Хрустальными театрами небесных люстр и облачных полей, садитеся на точку, точку пятую, и с горки вниз долой, и в небо по скале.

Пока работают яблоки-гнилухи, покуда есть в кармане фиолет, и пиво радиусное радужное нюхай, и не забудь сказать мне, сколько тебе лет. Я знаю, ты теперь уже большая, а была маленькой когда-то как ветла, которую лишь филин укачает, как фонари, сгоревшие дотла.

Румянец или бледность, пей водичку и в зеркало войди, в библиотечное ведро нырни, синичка, так напугаешь, если сзади подойти. И вздрогнуть, и опять, опять баюкать, и поворачивать на лето у икон. Ах да, ведь ты всегда носила брюки из магазина «Чемпион».

С низкого старта ломанулись и сломались, песочные часы, часы-цветы, а мы все веселились, обнимались, пока вы газовали, сбивая нас с дороги пустоты.

И вот с мальвазией фонтан, он неподвижен и бликами пиликает во сне, ах да, тебя я ненавижу, а кто ты, я не знаю счас, и где.

И как тебя зовут, Дамира, Юна, Соня, Мура, Валера, Вера и Ванюрочка, твоих, цыганка, я детишек покормил, что спят под дихлофосом майским утречком, когда совсем уже на перекресток уходил.

Но ты, конечно, знаешь это, тебя зовут как, знаешь лишь пока, пока для утра перегретого едва проходишь мимо косяка.

Когда, Смоленочка, не спишь в исповедальне, в высокий полдень где-то за углом, который ты

прошла, назначено свидание, на том углу иль, может быть, на том.

Пока в деревьях ваши волосы играют, покуда раздаются голоса, знай, люди просто так не умирают, а лишь наоборот, как в фильме «Взлетная полоса».

Когда ты видела мои дебоши, я посоветовал тебе купить галоши. И ты еще курила, не спала, в зрачках была морозная игла. Как из другого города, звонила ты из района дальнего. И я не мог понять, кто в этой секте, в этой спальне был бергамотом, кто инсектом, шаманом кто, с медалью кто, кто дочерью мента. И я смотрел в бинокль театральный, и наступала слепота. Как будто словно бы от снега, иль от дождя, иль Ветрогон Норвегов, как будто бы вчера. Но мы не говорили с Пасхи мертвых, поговорим теперь о пляске мертвых, поговорим об имени Христа.

И ты наверно знаешь, как, летая, та церква, церква золотая, несет тебя с собой, несет спасение всем нам, затем не надо видеть мне тебя, я только лишь хочу, чтоб ты была живая, здоровая и молодая, прости за каламбур, я не шучу.

Когда бы я не видел ваших оргий, как будто не рождался принародно, как будто не играл я в дурака, Повесть об Олечке была то, мне штрафная, и мяч мне, мяч мне, мяч для гопака. Пока едва качается беседка

в застежках сна и куколка-наседка на чайнике сидит, как на коленке моряка, весна, она сестра твоя родная, как кепка здравствуй и прощай, и всем нам, знаю, привет-пока.

P. S. Песнь Кассандры

Разбита чашка, Александр, и моет ноги вместе с головой на башне на одной ноге Кассандра, глядит она на спящий город Трою. Из искорок обрушенного неба, на водопое перемирий водяных, я от тебя уношу Бориса с Глебом и убегаю в алтарный тайник. Украдена, украдена икона, из Хилтона и, в бога душу ран, на магазине «Ветеран» стоит надстройка в виде отеля «Аль Хайат», маман. Будь проклят центр кривого эмирата, в котором косинус в костел забит, на скотобойне жатва виновата, и цирк вон покатился и горит.

В метро бежит по рельсам, обгоняя все поезда, маньяк полубольной, пока мы выпиваем, выпиваем, пока лежим с больною головой. Мы, Душенька, лишь разряжаем магазины, но в них ядро витрин разбитое горит, и долго ходит ночью по квартире, и про Берлин с Верленом говорит. Какая маленькая ножка, румянец, детское твое лицо — не кошка пробежала, то не кошка, а молния в лукошко, грибник Фаддей, что крутит на «Мосфильме» колесо.

Под соловьиный храп, под легкое дыханье ко мне идет, ко мне ползет и ест меня, воспоминание, одно воспоминание, трамвайные окошки заслоня, за занавеской желтой шторы ты видишь юбки, платья и чул-

ки, который год, который год, который час, который день в пучки волос ты собирала, Лунная дорожка, а мы хлебаем водку сапогом, и вот растет костлявая сторожка, и мед струится или самогон. Вот мира ковш, вот скалка, вот скатерка, и я бегу, подбитый, но живой, и в дольчики рядится гимнастерка, с иголкою бровей под шубой хвой. Ты раскрасневшаяся, пляшешь с мороза в шубе той, в одних чулках, Матрена наша, Маша и Наташа, а Ольге ложкой по лбу по губам.

Так я вчера, срубаемый, как Ягр, лечу, и мимо мальчик на коньке, он высоко залез на дирижабль и очутился в полной темноте, вот так позавчера в дыму строений, роенья пчел, Шайтанов водяных, приди ко мне, Кассандра из Парижа, с массандровой лозою на чилим, так кактус твой, Мариэлена, кипарисов, так рисовую водку за рукав, маман переливает в кошелькисам и все читает по моим губам. Так с ней на кухне ночью спотыкаясь, я в ней, Парис, вновь узнаю тебя, и, еж ты мой, сверкая и касаясь, я убегаю в западный диван.

Щегол как шелковый ремень на пояснице, и банки синим пламенем горят, вожжа в руке у лютого возницы, и восьмеро за ним бегут ребят. Ты на катке каталась, напуская смурную хмарь и закусив губу, и я тебя, как дитятко, качаю, хотя одна извилина в мозгу, причесываясь, ищешь сапоги ты, они в руке моей, и я на потол-

ке, мои полки давно уже в Египте, и коптские сверкают огоньки. Теперь темно, полуночной петардой, нас перебьет одной стрелой Дайян Некстдор, и Полудевк сбегает, курит «ватру», махорочки насыпал на костер. Теперь о том, как пальцы дней считают, немеют руки, Клава умерла, так мескалиновую нитью протыкаем под мой мотор, Леуну навела.

Как валятся рождественским вертепом и днем Волхвов, Богоявлений тем, к кому при матери полуодетых одна припрятана затея насовсем. Так долгий поезд, курево за сотню. Разлапистые варежки, снежки. Бегут они дорогой синей сойки, и гибнут от минут в глазах мешки.

Зеркальными домами, крышей Брюса, малиновок мальтийских перепой, так умер где-то там Валерий Брюсов, в рукав свой шприц закалывая зной. Не будет больше ветреной зимою ни герпеса, ни красных плясовых, на исповеди словно голым стоя, и Троя город свой не защитит. Все потому что с бритвою Кощея, непобедимый мчится побратим, и песнь пятая, из жизни Одиссея, это как мы с тобой на кухне посидим.

P.P.S. Письмо Ольге Николаевой

Адиос, амигос! Добра ночь, камрад, что спишь, еще не зная пробужденья. Хеллоу, мафия, ешь твою мать, с которой мы еще не переспали. Переполох над чайниками мстя, перепелов из петель мы перестреляли, как желтый след собачий береста, с которой вы все это прочитали.

Да, ты стала другой в очкастых роговицах, свинцовым дирижаблем побомбить и съесть с пальто все твои пуговицы, всех желтых субмарин, всех желтых индианок, весь Бомбей, Эдит.

О, не пила ты кровь, не спать с тобой под утро, взахлеб деля волшебных вод ходы, ты так была для меня, как Кама-сутра, как божья коровушка Обводного, поди.

Май диар, мой Олень, скача в упряжке до Пряжки и с фуражкой в пуле чтоб, мой пулемет подаст тебе испанской пшеницы, кашки, и любит так, что полночь не соврет, в озноб.

Так твой карась локтей, так твой пиджак эсерки, так твой на лысый пень садящийся матрас, как день рожденье Эллекена, плачет, серка, все как сластена, что выходил с тобою в ночь вчерась.

Так, Полечка, твои персты крылаты, и снова в лавках в шлеме «голуаз», так для тебя хохлатых птиц брюхатых, ты знаешь, о, княжна, кто был бы этот князь.

Как книжка на ночь, как твое рожденье, переборщить и летами, затем на тот поминовенья понедельник, не будокурь ты без меня совсем.

Как спирт «Рояль» и как пододеяльник, в петле топор из двери двери бей, я вспоминаю каждый третий в спальник, чем бы еще бомбить тебя, Бомбей.

Так Полечка, так Олечка крылатой Пасхи моей с тобой обрублено рядно, как дождь в окно, и с дупелями капель, так мешковина тянет за окно.

Седьмой, Семнадцать лет, ты где седьмого, а где семнадцатого ходишь, где паришь. У Обводного, да у Обводного, я видел весь твой Аничков Париж.

Но Пэрис, ты прости мне эти нюни от обстрела, прекрасной Шоколадной фабрики дневник, как ежедневник раннего расстрела, как ночи брат, тайник и мой двойник.

Ты знал чудовище изысканное это, который в плач и смех крадет ничком, при матери за ползунком, Одетта, с мячом, с виском и черепном родном.

Две родинки твои и две веснушки, мне в путешествие подмышки хлеб направь, как бабушки-бабушки, бабушки-старушки, не смогут вплавь однажды умирать.

Тебе пою, о, Оля с Новосиба, и «Гуси» с Николаева летят, как двух ведер распластанные, символ, воспетый в море, в горе, так направь.

Ты путешествие Гермеса Трисмегиста, как цайтгайст или в обмороке лень, так ты Бодлера переправь, Пречиста, как будто был и у тебя Бодлер.

Так заебись, летите, все, летите, птицы, туда, на север, дальше от отца, так поцелуй Гермеса Трисмегиста, лишь оторвав свой обруч от лица

ТИФФОЗИ БАРНАУЛЬСКОГО «ДИНАМО», ИЛИ КОНСИЛИУМ КОЛДУНОВ

Тиффози барнаульского «Динамо», или Консилиум колдунов

Купец Ништяков построил в городе стадион «Олимп», бани, в которых в обычные дни полицеймейстеры грелись от лютого мороза, выбегая в испарине и без памяти добредая до дому ноябрьскими ночами. На короткое время бани закрывали, после того, как один капрал заснул, стоя на шлюхе, и так проспал до утра. А потом, вскоре после последнего Кубка мира, бани разрушили, вернее, стадион провалился под землю, кроме фанатской трибуны, на которой остались почему-то сидеть тиффози барнаульского «Динамо», превратившиеся в бомжей в кожанках, — кроме них, не выжил никто, потому что врагов у них не осталось, и после этого ситуация как-то нормализовалась. За это время произошло очень многое, и именно это и обсуждали бомжи. Собственно, Кубок мира был завоеван благодаря банщикам, а вернее, даже так, одалискам Илоне Сталине, Бляди Мэри и Кони Оппенгеймер, которых клан картеля «Петроль» нанял для отсасывания сил у пузатых аргентинцев, робких немцев и прочих лягух, а победила команда в фиолетовом наряде, у которой потом одалиски с Консервного завода обкончали смычками причиндалы. Собственно, в полисе существовало четыре градообразующих предприятия:

«Олимп», Консервный завод с Концертным залом, Крематорий и Метро, и все это продолжалось изо дня в день, создавая каждодневную аварийную ситуацию, одна из которых оказалась роковой — уставший машинист, которого все это напрягало, погнался за одной маленькой девочкой, работницей консервного завода или крематория, — судя по рассказам бомжей, они не помнят точно, был то Консервный завод, Концертный зал или Крематорий Концерна «Петроль». Так вот, машинист, забыв, что он находится за рулем, и, оставаясь в кабине, выскочил наружу, и врубился в расстроившийся Кремационный Концертный Концерн и уронил все концы этой истории, как и следовало, в Коцит, протекавший, ледяной, сонный и загнанный в трубу, тут-то все и произошло, сказал первый бомж-тиффози.

А что стало с маленькой девочкой, задумался второй, который не мог почесаться, неужели она ухватилась за люстру и спаслась? Не так все, по моему, было. Пиздишь, одним словом, ты. Тут бомжи начали драться, попивая водку из Коцита, и уже хотели устать и ложиться спать на бетонной трибуне, как вдруг увидели, что к ним спускается с люстры, да, я забыл вам сказать, что люстра все так же на чем-то висела. На чем? Да ни на чем, на хую.

Спускается к ним девочка Кончита и говорит им: дайте мне попить и поесть, а я вам всю правду доложу,

только не трогайте меня. Рассказ мой будет недолгим, потому что все, о чем шла речь выше, было ровно сутки назад, а что было до этого, я знаю по рассказам моей 90-летней прабабушки, которая преставилась в позапрошлую среду, то есть, не так давно, короче, я вам расскажу, чтобы в память пришли хотя бы, а потом уже делайте со мной, что хотите.

Здесь начинается рассказ Кончиты Рамирес, правнучки Белы Рамирес, более известной как Белая Кобра, и Мичигана Рамиреса, именуемого чаще всего не иначе как Красная Кошка, и их друга, полевого командира Васи Петрова, более известного как Едкий Лютик, и его жены по прозванью Душистый Табак, у которых у всех еще при жизни не осталось детей.

Мичиган Рамирес родился ровно в таком-то году, проснулся и выпал из ракитовой колыбели в 6 утра, и в его онемевших глазах некоторое время кружилось удивление от яблочного цветения и возможности плавучих зрачков к наблюдению кружащегося в голове мира. Все первые годы детства он потом забыл и они настигали его каждое десятилетие, посекундно выпадая как час отдыха в совершенно новых для него местах. Казалось, что он все время стоит на асфальте, на одном месте, забывая все прошлое. И не было ничего, кроме этих только

трех секунд, в которых первое его пятилетие, прошедшее и окончательно забытое, не сконцентрировалось в одном лишь движении и не опадало в иллюзорной дымке синеватых и беловатых папирос. Все остальное время он жил, как будто бы не приходя в сознание, хотя считал, что находится в свободной регулировке своих движений и максимальной концентрации внимания. Первый раз он очнулся на пороге своего горящего дома от крика матери, в ночнушке выбежавшей за околицу, и стал оползать вместе со всем травяным и отравленным скатом в овраг, присыпанный листвой и заросший борщевиками, хвощами и папоротниками, и спрятавшись на отмели ручья, в темноте, и дальше поплыл на спине, заглотив несколько капель. Обернувшись назад с другого берега пруда, он увидел лишь огромную гору, по которой и сделал свои первые ползки. Когда он добрался до верхушки горы, он увидел огромный выжженный круг земли, встал и пошел по свежим и тлеющим угольям. Где-то на другом краю деревни он увидел отрезанную голову своей матери, которая, как покачнулось ему на мгновенье, открыла глаза, и отворила уста, и сказала: сыно, меня убил один человек из квартала, однажды ты увидишь его обрушение, посмотри мне в глаза, и тогда ты однажды узнаешь его.

Мичиган Рамирес нашел обожженное лезвие и кусочек пластилиновой резины от ее бигуди, поцеловал

мать на битком перебитом мешками вокзале и сказал: я уезжаю. Мы никогда не увидимся вновь с тобой, проводи меня в первый и последний раз и молись за меня до скончания дней, упал к ней в ноженьки, закопал в ямку ее голову в косынке, мгновенно все понял и отъехал далече, хотя все время оставался поблизости от тебя, тварь.

Мичиган Рамирес, командир черного отдела, никогда не читал сводку. Он предпочитал по воскресеньям плавать на лодке в большом искусственном карьере, в маленьком каньоне, загребая лиственные билеты охапками опадающей с головы седины, и потом спал под деревом на другом берегу. Когда он очнулся во второй раз, то увидел, что оказался на скамье большого парка возле театра имени Комиссаржевской. В дупле фонарного столба пели пчелки. Он повалился с полати на пол. В растворившееся окно влетело коромысло с двумя надутыми грушами бедер, с двумя открытыми шарами и крикнуло ему: стой! Мимо пролетела «волга», и он услышал эхо тормозных гудков в своих ушах, и завертелся, как лист на середине дороги. Вертясь на перекрестке, как табуретка в руке пляшущего покойника, он даже не успел метнуться, как вдруг оказался в кустах бульвара, ухваченный в обнимку теплой силой чьих-то рук. Над ним склонялся Вася Петров, некогда лучший ученик параллели Б школы «О , Господи», а теперь — вольноопределяющийся небоскреб.

Здесь начинается рассказ Васи Петрова, из параллели «бэшек», однокрылого стрекозла, игрушечного сухогрыза.

Вставай, сказал Вася, просверливая кошмары Мичигана своим миксером для прививки березы от столбняка. Яблоки попадали, разбившись в кровь. Вернее, ранетки. Здесь раньше росли тополи, а сейчас слегка пуржит, промолвил он. Так оно и было.

В стемневшей от зимних сумерек аллее им было жарко. Надо пройти сквозь закрытые дворы, я знаю здесь все входы и выходы, но один из них может быть перекрыт, сказал Вася. Они пробрались сквозь стеклянную дверь магазина, вышли на заднем дворе, где гуляли с собачками и росло одно деревце, уже облетевшее, спустились вертко́ю и скользкою улицей в овраг, и вылезли на железнодорожном полотне, и остановились перед мостом. Дальше начался разговор, а гул солнца нарастал в голове, как будто оно приближалось, но это все время свистел ночной поезд.

После войны мы жили в землянке, выдолбленной в скале, и ходили по мосткам, обрывающимся в побережье холодного моря. Потом мы сели на поезд, и меня и мою сестру Валю повезли через всю страну сюда. Валя ходила по поезду с открытыми глазами и пела песни. Она уходила в самые дальние вагоны, чтобы родители не знали, что она собирает милостыню на мороженое. Сначала мы ехали, успокаиваясь под стук колес и раска-

чавшихся, как гармошка, вагонов. Ехать было легко, мы во что-то играли и смирно сидели. Незаметно ехать становилось все тяжелее, я не мог спать и уже не мог помечтать, а Валя совсем стала смирной и стала больше молчать, а не петь. Последние два дня мы не ели. На перроне нас встретила бабушка, и нас сразу же увезли в санаторий. Она сказала после, что мать и отец погибли, плавая на лодке по морю, их сначала ударило о скалу, а потом вынесло в океан. Встретившийся военный корабль подобрал их тела, обернул пропитанными простынями и похоронил в морской могиле.

После месяца в санатории Валя пришла в себя, но навсегда затаила в душе мешочек грусти, колодец, в который она роняла слезы, которые становились до горечи похожими на горючую смесь, но это с возрастом, сейчас мы пойдем к ней, а пока я расскажу тебе, что было дальше.

Бабушка и дед с двумя сыновьями только въехали в новую квартиру в коммуналке. В первый же день туда пришла женщина с желтым чемоданом и дочуркой в пятнистом платье, работница второго предприятия, которое делило этот дом. Там же поселились мы с Валей, и нас отдали в раздельные школы. Я учился раньше хорошо. В первый день после занятий меня одноклассники позвали в класс и сказали: смотри. Я увидел, что на сто-

ле лежит, вытянув черные носки, весь в черном, очень худой рыжий мальчик, лицо которого было совершенно восковым, так что я подумал, что он мертв. Он лежал без дыхания примерно 10 минут, мне же это показалось вечностью, потому что все это сопровождалось гробовым молчанием, а потом он вдруг вскочил на столе, широко раскрыл глаза и закричал: бей его. Меня поволокли в сортир и сделали там темную. Я переночевал на улице, не пришел домой, чтобы не показывать синяки, и поклялся отомстить. На следующий день я проследил за рыжим, поймал его в подъезде, шибанул об стену и столкнул в лестничный пролет. Меня поймали за городом возле аэропорта пацаны, привязали к дереву, по которому ползали муравьи, и оставили на сутки на солнце. Рыжий выжил, и его отвезли в больницу, как мне потом сказали. Когда милиция нашла меня с ожогами лица и всего искусанного шершнями и муравьями, меня повезли в детскую комнату, туда же пришел дед, который устроил так, что меня не направят сразу в колонию, а положат в дурдом. Детского отделения не было, там я был вместе со взрослыми. Кирпичное здание стояло на отшибе проселочной дороги, по которой все время возили кирпич, росла полынь, и от солнца шатало, и все казалось желтым. Внутри же этой крепости, размером с небольшой аэродром, была садово-парковая территория, несколько

корпусов. Сначала меня там продержали два часа, потом уложили, и медсестра, похожая на монахиню, впаяла мне в ногу какой-то укол. Прежде чем заснуть, я немножко пошарахался, парализованный на ногу, а потом отрубился так глубоко, что не помню, когда проснулся. Первое, что я увидел с утра, была страшная бородатая, с подтеками под глазами рожа, в которую я, собрав всю злость, харкнул, вскочил, и побежал по коридору, и выпрыгнул в закрытое окно. Собираясь с земли, я услышал выстрелы на этаже то ли какой-то башни, то ли девятиэтажки и побежал по глубокому снегу, обнаружив на себе кирзачи. Мимо проносились телеграфные пути, узкоколейки, какие-то кусты, горящие фонари, и я бежал прямо на них потом добежал до какого-то оврага, вырыл себе яму в снегу. Там оказалась мягкая куча прошлогодней травы, я закопался в нее, оставив маленькую дырку, и вновь потерял сознание.

На шестом этаже девятиэтажки стояли два киллера. Они сказали: ни хуя себе, Стрекозел. Я все в жизни видел, но такого никогда. Забираем бабло, потом решим, что с ним делать дальше.

Бела оказалась в овраге, скатившись в него в своей бархатной кожанке, со всей дури въехав в что-то твердое и что-то напоминающее гнилую картофелину. Вытерла с каблука. Тут Вася Петров обернулся к Мичигану,

они стояли под фонарем, нависающим над подъездом смутным колпаком измороси, и Мичиган увидел, как к нему тихонько Вася обращает свою вторую половину лица в солнечных очках. Поднимемся, это здесь.

Им открыла женщина, показавшаяся Мичигану выше его, пока он всплывал по лестнице, и когда он сравнялся с ней и стукнулся макушками, то повалился, как ему показалось, на пороге. Женщина и назвавшийся Васей оттащили его бездыханное тело на кровать. Женщина спросила: кто это и какого хрена он здесь делает. Бела, ответил Вася, я вытащил его из-под колес автомобиля. Он останется здесь до утра. Ты знаешь, что нам не помешают лишние руки. Не знаю уж, как насчет башки, ее и так ему, похоже, кто-то отстрелил. Сними очки, сказала Бела, это задалбывает, я-то знаю, что ты не слепой. Я так больше не могу, сказала она. Вот уже полгода я встречаюсь с одним богатым уродом, пока ты бегаешь по городу и занимаешься хер знает чем. Я устала. Вася снял очки и сказал: надо спать, все равно до конца недели еще два дня. Ты никуда не уедешь, ты понимаешь, ни-ку-да. Мы сюда не на пальмы смотреть приехали. Расскажи, как прошел твой день. Ок. Ответила равнодушно Бела.

Здесь начинается рассказ Белы, именуемой чаще всего Белой Коброй, как доносит молва.

Этим утром Вася опять ушел. Вместо него на койке я нашла проснувшегося товарища, который сначала молчал, потом стонал и просил выпить... Я сказала ему под конец, что он заебал. Тогда он сказал: отсоси. Я поставила чай. В это время он попытался встать, упал на пол и продолжал непрестанно бредить о каком-то аквариуме, в котором, по его словам, плавали волосатые женщины, а мужики стояли вокруг и дрочили на его стекла, поливая их водкой, где-то в центре парка, открытого для всех, и что когда он пришел туда раз, и что там его порезали, и как он добежал до больницы и там медсестры были все мужиками. Я набрала в рот холодного чаю, прыснула ему в глаза. Это не помогло, и тогда я взяла и стала закрывать ему рот рукой, набрала водки, прыснула на него, а потом залила ее изо рта в рот, зажимая его. Некоторое время он соображал, а потом сказал: я счас встану, сделал движение, разбил мне губу своим зубом, упал и отрубился снова. Я наклеила пластырь, закурила и, поскольку холодильник был пуст, пошла в магазин, хотя Вася сказал мне не выходить сегодня. Когда я вернулась, то обнаружила, что дверь закрыта изнутри. Я вылезла на обосранный голубями чердак, спрыгнула на соседский балкон, потом перелезла на свой. Залаяли соседские собаки. Я через форточку открыла балкон. Он стоял посреди квартиры, шатаясь, и хлестал водку. Соседки, по

счастью, не было дома. Я схватила стул, первым ударом сбила его с ног, и сказала: замолчи, и с размаху села ему на голову, сдавила ему яйца, так, что он завыл. Через две минуты он кончил, отвалился и заснул. Я вкатила ему обезбола из аптеки, набросила на него простыню, и села в кресло, и закурила. Потом связала ему ноги и примотала руки изолентой к спинке качалки и ножке кровати. Совершенно выбившись из сил, я полезла в ванну и там заснула. Я проснулась от холода в мокрой одежде, сняла ее и, собираясь переодеться и забраться в кровать, когда увидела, что он стоит вертикально вместе с кроватью, привалившись на нее. Его рука безжизненно висит, а качалка торчит в окне. Он открыл глаза и подмигнул мне. И сказал: пусти, мне лучше. Лучше тебе еще так немного постоять, я переоденусь. Ты нес какую-то пургу про аквариум. Где это? Ты что, здесь недавно? — спросил он. Это на том берегу. Если ты не местная, поздравляю, добро пожаловать в НСКА. Я отвязала ему руки, посадила на кровать, вытерла блевоту мокрой одеждой, убрала все в пакеты, придвинула столик, налила ему чаю и достала немного снеди из сумки. В это время в дверь позвонил Вася. Когда он зашел, то ничего не сказал. Ну рассказывай, кто ты, сказал он, обращаясь к нему, не смотря на меня, как будто меня не было.

Здесь продолжается рассказ Мичигана Рамиреса.

Я стоял на сцене и пел что-то наобум. Концерта никто не слушал, так как наверху шла свадьба, на которой собрались все городские бляди вместе со своими кошельками со спермой. Тут спускается эта баба и начинает мне отсасывать, я хотел было дать ей по башке своей маленькой гитаркой, но не смог. Усилок с автономной батареей пилили еще несколько минут, как бензопила. За это время несколько раз гас свет, и я подумал: что за цветомузыка. Тут мой усилок разрядился. Я увидел в полной темноте, что сквозь разбитую крышу светит большая луна, а эта баба там шарится наверху. Тут с лестницы прямо передо мной валится мертвый хозяин заведения. Баба спускается, и выводит меня за руку, и ведет через парк в какой-то темный подъезд. В это время кто-то дает по газам совсем рядом. На следующее утро я проснулся здесь, ничего больше не помню. Хорошо, говорит Вася, я тебе верю, как в анекдоте про сантехника, который воткнул руки хозяина в розетку. А сейчас пора ехать. Впереди пять часов езды. Поедешь с нами? Подожди, я закрою газ, вздрогнула Бела.

Продолжение рассказа Васи Петрова, известного как Едкий Лютик.

Прыгайте! — сказал Вася Петров, пока темно. Створки кареты растворились, а Бела и Мичиган пова-

лились направо, отползая в траву. Вдруг занялся день. Хозяева-киллеры погнались за своей машиной. По другой полосе летели полицейские. В это время день занялся чем-то другим. Они въехали в центр города. Вася нажал на тормоз. Было поздно. Бабушка с внучкой скончались на месте. Со скоростью метропоезда в кабину Васи внесся «камаз».

В это время сам Вася заснул.

Здесь начинается сон Васи Петрова.

Фельдшер Даффи Дак стоял над талым трупом. Собираем консилиум, сказал он, ударил себя киянкой по голове и раздесятерился на 10 колдунов. Один из колдунов, в турецкой черной майке с номером 23 и в черной кепке с надписью Russia, и другой, в алой майке ФСБ с номером «Генрих 14» и в белой кепке козырьком наоборот, поставили на головы, первый — бутылку «Северного оленя», а второй — стакан бормотухи с марьяжем, заплясали и заголосили на тарабарском языке. С места вскочил третий колдун, в мохнатых штанах и красной рубахе, захлестнул на губу «журавлей», и в это время на кухню вбежала белокурая индианка со спящим ребенком в косынке, а Генрих поднял первого колдуна на табуретке. Колдун Мамалыга схватился рукой за горячую плиту, а второй — за батарею. Тогда Генрих пхнул его в грудь

резиновой перчаткой, и их перемкнуло. В это время десять невидимых летчиков на лыжах прорвали звездную сеть. Они стояли на мосту и молились черному ворону в коммунарском районе, целовались, а потом повалились, угашенные известью, на пол и поползли вон. Генрих очнулся в пустой квартире, вышел и закрыл за собой дверь квартала. Тут дверь распахнулась вновь на втором этаже. На пороге стояла годовалая Кончита Рамирес в красном платье и мигала ему.

Здравствуй, Вася, сказала Бела, выглядывая из окошечка. Он зашел в жаркую душную комнату, где она красила стены белой краской, голая и укрытая лишь волосами. Я выбилась из сил. Тут появился Могадишо, и они стали тихо танцевать втроем, как три тени, опутанные зеленой паутиной ветхих потолков. Тут подошел Миклухо и пнул мяч с песком в новое зеркало. Вася пошевелился, и зажмурился, и увидел второй сон.

Жарища в синем троллейбусе. Садится пацанчик в черной кепке, знакомый кондукторши в белом платье. Горит, говорит вдруг. Люблю пожар. Люблю пожар. Ненормальные раздражают донельзя. Сойдет, не сойдет. Люблю пожар. Проезжаем улицу Гоголя через полчаса. Центральный рынок сиреневым облаком горит. Надо было сесть на трамвай, проехали бы через дым, да опоздал, подумал Вася.

Сонная девушка голоногая катит на скейте по асфальту по ветру. Гудит автомобиль. Засмотрелся на нее старый ханыга в джинсовке. Он переходит и горестно поворачивает в другую сторону.

Вася выкурил пять сигарет «Магна» первый раз в жизни. Звонок Владе. Я умираю, говорит он. Она отвечает: выпей моего синего молока «Либфрау». Вася как миленький засыпает.

И видит третий сон. Бела лежит, совсем окуклившись, но держится ногой за люстру, чтобы не упасть в пляшущем доме, а руками хватает с пола мокасины, и идет на них, и гаснет, как молния во мраке.

Мичиган Рамирес выбежал в одних синих штанах со своей гитаркой, как Пальмиро Тольятти, и закричал: в моем автомате плачет девочка! Он пять часов бегал по кварталу, а в это время Вася Петров спускался через Коцит, тогда еще не загнанный в трубу, проложенную через бойню, и пел песни, по дороге его один за другим обгоняли какие-то мужчины и женщины, а песня летела назад, сквозь жидкий дым, потому что он спускался спиной или плыл на спине.

Мичиган остановился в пятом дворе, по дороге он сбивал всех попадавшихся навстречу, как в старинной компьютерной игре, своей гитаркой-веслом.

Вася переплыл и перешел вонючий и смрадный Коцит, над которым кружились гнусные мухи, вышел на берег и там увидел у костра сидящие и стоящие тени. Кто вы такие?

Говорит первая тень:

— Я бабушка, шла в магазин, вот мое платье.

Говорит вторая тень:

— Я ее внучка, я переводила ее через дорогу, или она меня, я не помню. Мы остались одни, без родителей. Спасибо тебе.

— А я тот мужик, сказала третья тень, в красной рубашке, я трогал тебя за сиську. Мы с другом поехали на машине, а ты стоял на дороге и сказал, что не будешь есть пирогов наших матерей. Мы вылетели на встречную полосу, и мед наших матерей вместе со стеклянными банками опутал наш каркас. А я вылетел через лобовое стекло, и перекувыркнулся, и умер от разрыва страха, так испугался.

— А я родился с тобой в один день, а моя сестра тебе не дала, ха-ха-ха.

— А мы три матери — на моей кровати ты спал. А со мной ты катался в троллейбусе и напугал. А ко мне ты не пришел, пока я была жива. В нашем меду и в твоих стеклах наши сыновья.

— А меня ты встретил на железной дороге, и мы разговорились. Через десять лет я там попал под поезд,

от которого тебя оттолкнул тот мужик, которого мы тогда видели с тобой.

— А меня ты позвал строителем твоего кирпичного дома и кирпичом по тыкве дал. Еще я считал, что я Элвис Пресли, а он смотрел на меня со стены и пугал меня, так что я нырнул под поезд 1 апреля.

— А я от тебя убежала на вокзал, потому что ты зажег мне свечу заживо, перед первым поездом перебежала, а перед вторым не успела.

— А я укачалась в автобусе и упала в реку, а ты тогда не оставил в аэропорту на скамейке мне нужную дозу.

— А я тебя подводила к путям, сказала тень коми. И оттуда ругался стрелок и застрелил меня с вышки. И я тебе давала синее молоко «Либфрау», а ты засадил моего мужа в тюрьму.

— А я утешал ее подругу, у которой она увела мужа. Мы все стояли когда-то на одной сцене, а ты со своими дружками нас распилил, как в цирке. Меня выбросили из машины после того, как я стал складывать нежные стихи для подруги жены в конвертик.

— А мою дочь Белу ты увел, обозвав меня трижды жопарезином. На третий раз мое сердце не выдержало, и я умер на трибуне в середине марта от инфаркта.

— А я сидел перед той же сценой, пока ты с Могадишей, Миклухо, и Белой, и этим твоим с веслом там вы-

ебывались. На мне был пиджачок серебряный. Но меня понесли на шкафу на здание московского университета. И я там умер, хотя думал, что я бессмертный.

— А меня ты напугал пылесосом. Я был стар и вертел лампы. Мы с тобой тогда почистили козырек — ты пылесосом, а я за тобой долбил ломиком. И ты не стал делать мне искусственное дыхание, когда я упал, привинчивая очередную лампочку. Я сорок лет исходил за тебя весь север, пока не пришел сюда.

— А меня ты бросил в свое время, и меня взорвали карбидом в аэропорту.

— А ты убил моего деда и дядю, обольстил меня, а потом посмеялся надо мной.

— А я на тебя просто косо посмотрел.

— А я твоя сестра Валя, я прыгнула за тобой сюда с 16 этажа, сказала Бела Рамирес, продолжая болтаться на люстре и стремясь ухватить за пятку своего младенца, раскачиваясь на своих мокасинах, летая подобно молнии по небу.

Кончита уносилась уже в метро. Фанаты барнаульского «Динамо» раскачивали соседний вагон ходуном. Мичиган сидел в кабине машиниста.

Матч начался. Первым сломали Стеню, он корчился на поле. Трибуны кричали, что он лесби-педорас. Вторым упал Яша, который уже убегал от фанатов и влез по трубе на небоскреб. Третьим выбили колено Болгар-

ской Сосиске-ватерполисту. Четвертым оказался Пиппо, который прыгнул двумя ногами вперед, но промахнулся мимо штанги. Пятым вышибло Помаха, шестой из Мини Макса превратился в Макси Макса. Летающий Лыжник выбыл седьмым, а Бурябор упал, задавленный летящими с трибун конфетти и газетами. Тут Генрих 14 забил гол в свои ворота, прямым ударом пробив даже не дернувшегося Мамалыгу, а Рыжий перевернулся вверх ногами и повис на крыше дома, застрял ногой в стрехе, повис вниз головой, сломал руку, и Бела смогла поймать только его голову, которую оставшиеся в игре Могадишо и Миклухо два раза пнули в новое зеркало. Это была голова убийцы матери Мичигана.

Мичиган увидел Кончиту, убегающую от него, крутанул штурвал, оторвал тормоз, выскочил на проезжую часть, обвалил весь консервный смертельный квартал, вместе с концертным стадионом и крематорием.

Бомжи вдруг очнулись и увидели, что это они, тиффози барнаульского «Динамо», и были единственными игроками в поле и теперь сидят перед Кончитой Рамирес.

В это время фельдшер Даффи Дак остановил головокружение и вышел из консилиума колдунов, а Вася Петров испустил дух. Над ним склоняла кудри Душистый Табак.

КОНЕЦ ПОКЕМАРЯ

Конец Покемаря

Вы были нами, мы вами будем.

В. Х.

Глава первая

На столе-комоде стояло фото мальчика в черных шортах, который к тому моменту, как вы зашли бы в эту комнату, был уже три года как мертв и потому глядел с испуганной обидой на погремушки, колокольчики с лошадиными хвостиками, виниловый проигрыватель, ксерокопию портрета Моцарта, молодого Гребня, похожего на женщину с гитарой, и большой зеркальный портрет вверху стены. На портрете девочка в шляпе, проткнутой разноцветной рыбой, смотрелась в аквариум комнаты, держа в руке перевернутый старый зонт. Одна деталь портрета тонула в памяти и выходила из нее на свет с одной небольшой неточностью: не синий свитерок с красным вырезом, не большие и смотрящие в темноту глаза, другая деталь не давала покоя: изображенная на портрете не имела возраста, кроме момента написания, и никогда сама собою не станет похожей ни на один из возрастов девочки. Момент уложил в себя выцветающую кромку того времени года, сделав из героини холщовую мумию, а комнату, где почти всегда была тень, встроил как в пенал внутреннего монумента, подобно кимберлитовой

трубке, в которой все начало расти наоборот, с щелчком головокружения первых секунд, пронося над головой тот самый зонт, на котором играли весны, загораясь и исчезая, на котором осени линяли, как кошачьи лапы. Этот фиолетово-зеленый портрет обращал комнату жизни владелицы от косяка до косяка, об который ударял ребенка маленький божок в шортах с фотографии, в прошлое, которого не было никогда, и обеспечивал постоянство ее жизни, сна, разговоров во сне, наблюдения за смежающими глаз тенями из телевизора, место ночлега страха, время ее ума, который был погружен в глазастую и выпуклую голову. Портрет, пока его не сняли и не изорвали бы, хранил все вещи на своих местах, подобно лунному свету, заходящему в окно, который во время прилива только вытягивал ее за нос из глубокого раннего утра. Поднимал на ранней утрате, нависал тучами над вечером, а в деревьях — окно выходило в овраг — блуждал и смотрелся за нею в неиссякаемую пропасть, куда вслед за полетом голубей, лаем собак, истончавшихся соседок-старух, туда, где пока шло время, пока ее смеющееся и гордое глубокое отчаяние и горловой нутряной плач не превратились бы в единственную волю помешанной уличной языкастой болтуньи в валенках, теплом пухлом пуховике, с голубиными грудками и птичьей красотой. Кажется, что прошла секунда, а минуло уже сорок лет.

Купите у меня чеснок, сказала женщина в оранжевой куртке, с глазами нищей старости, червленой на глазницах, на коже рук и лице, серебряными и темными родинками уходившей со света. Я куплю себе молочка. — Купите у меня чеснок, обратилась женщина снова через пять минут к молодому человеку, который в путанице и чехарде, возникавшей всегда возле этого угла магазина, возле бывшего общественного туалета, где теперь делали черные фотографии, стоял уже с другой девушкой, улетавшей далеко в Польшу. У ребристого магазина под перистыми облаками, как у отваленного камня пещеры, всегда происходили случайные встречи. Женщина с чесноком никого не узнавала, как и рождественская девочка под зонтиком на большом шаре, прижимающая к груди мокрого кота. В это рождество нищим никто не подал. Потому что общая нищета скверного парка, где ютились волшебные огоньки праздников, как в последний раз в жизни случившихся с ними со всеми, да и с нами тоже, все больше опадала ошметками сухой хвои и рыбьих чешуек, осыпавшихся конфетти и осколков, по которым топтался каменный бог ветра в своих железных сапогах, перешагивая через старый, дурной и короткий лес, и улетавший сквозь трубу нового надземного перехода, и растворявшийся как черт со своими кнутиками в глазах ведьмы, которая хотела вместо молочка чесночка.

Шар с мокрым котом и украинской рождественской девочкой разбился на вторые сутки. Никто бы не смог дождаться в этой волшебной квартире второго рассвета, всех выметало вон вместе с умом, как игрой в вышибалы. Да и хозяйка уже боялась там находиться, забывая ключи в дверях при виде новых гостей, но тщательно оставляя записки и приклеивая их к шкафу оранжевой кухни, где когда-то висела афиша черного кота «Мулен Руж», где когда-то садились, как кактусы, на пол мужчины в шляпах, где когда-то было таинственное и зеленое свечение хлороформа сквозь ветхие стены, где когда-то восемь безумных часовщиков тянули на себя эспандеры гирек, где когда-то рассвет означал наступление полугодия пасмурных лодочных прогулок по скатерти рек, впадающих в жестокие и подземные моря.

Две девушки беспечно раздевались в комнате на первом этаже, где висели в сутолоке театральные куклы. Они курили табак и со смехом знакомились друг с другом, тайно рассматривая себя, как в зеркальце, и пытаясь понять, как будет глядеть на это посторонний. Одна из них, в куколе балахона, потом сидела в желтой больничной палате, думая, что родит в первый и последний раз, если все получится. Как капрал с барабанщиком, неразлучные подружки в кожанках и с плетеньем волос услаждали себя весело игрой на трубе и виоле, зажимаемой

между ног и в полусне издававшей нотное расписание музыкальной школы и дальнего города, где лень боролась с цепкостью пальцев рук. Одна из девушек звалась «любимой моделью», и ее небольшие усики давали ей еще название «мальчика».

Мать Трубочистки с большой и седой головой сидела на кухне, стреляла папиросы и хранила в складках лица гордость и красоту неприступной в прошлом красавицы, которая дозволяла дочери многое — курение в комнате с распахнутым окном, когда зеленые сумерки мазали гримом лица приходивших юношей, осинники и небо помещались в это окно и горчили травой, базиликом, медуницей и чабрецом.

Позже туда поместилась огромная желтая керамическая плита, для несения которой были отряжены восемь человек, по два на каждую ее ногу, и это было одной из первых больших погрузок. На этот раз молодые мужчины, все певчие из хора и в поношенных шляпах, молча несли плиту для изготовления кувшинов, отбитые куски которых потом валялись по всей деревне вплоть до узкоколейки, которая перестала работать, и до разрытых колодцев домов, оставшихся для любителей полновесных кирпичей и стеклянных бесформенных зеркал, битых часов и подвальных конструкций с винтовыми лестницами. Командовал переноской плиты Вол Ман, которого привела в дом Трубочистка.

Вол Ман обнимал и целовал ее на белых подоконниках огромного здания бывшей совпартшколы, водил ее по старым районам и заброшенным домам, они носили с собой метлы и другие причудливые транспаранты и знамена из бумаги. Он подолгу останавливался в старых закутках; как иных привлекают витрины, так его вниманию всегда были предоставлены старые ключи, чашки, кресла, доски и бидоны с помоек. Также он слыл большим травником и собирал по лесу редкие семена. Позже он обзавелся красными крагами, фомкой и ходил по заколоченным старым домам, взламывая их и рассматривая полумрак и пустоту сырых стен, от которых пахло могилой, и где всегда оставался труп. Меня обычно ставили на стреме, хотя если бы показался патруль, я не смог бы объяснить, что я здесь делаю, и, наверное, скрылся бы с места.

Трубочистка и Вол Ман красовались на публике, без стыда, который тратился на другое — он упирался и стыдился того, что был владельцем огромной библиотеки, размером с планетарий, и того, что многое знал. Однажды Трубочистка нарядилась в красно-черное, как любила носить Эбби Линкольн, понятно, что все со второй руки, и вдруг заплакала, словно поняв, что он не полюбит ее. А он закатил глаза, сделав всем страшно на полчаса до смешного, сидел обхватив голову и плакал тоже, пока

его не оставили одного в квартире с незапертой дверью. Он не спал несколько ночей перед этим и понял вдруг, в этот самый момент, что жизнь прожита зря, что все исчезнет, или вернее так, что все кончится не начавшись, и его, Вола Мана, синие волосы, синие глаза и синюю бороду, со всем фанатизмом молящегося, забьют на бывшей бойне в овраге, вместо которой поставили торговый центр. Но все всякий раз проходило спокойно, следовало пробуждение, хотя в момент рассвета иногда у многих бывают минуты, когда ты умираешь весь, как мелодия, умираешь заживо изнутри.

Все продолжалось до тех пор, пока он не переключился на воровство кактусов. Я все думал, что он делает в бесконечной очереди в чайные, цветочные магазины. Я предпочитал всегда парикмахерские — там можно было хотя бы почувствовать, как прикасаются к твоей голове, и вспоминать, как ты выглядел раньше в стрижечных, в салонах фотографии с приложенным к уху игрушечным саксофоном, и там можно измениться за пять минут до неузнаваемости. Так иранка однажды не хотела делать скинхед, оставила чубчик и засмеялась: панк. Ну, а Вол Ман просто грабил цветочные магазины. Кончилось все, когда он поехал в ИКЕА. Там, блуждая в лесу свежих досок и винтиков, он украл кактус и ничего не купил для страховки, хотя его огромный кошелек не

помещался в карман, был из желтой кожи и вдвое больше любого другого кошелька. Он спрятал кактус в штаны, но потом из осторожности переложил его во внутренний карман, упиравшийся в задницу. Охрана его остановила. У нас есть данные на вас о том, что ВЫ УКРАЛИ КАКТУС, стыдливо прошептала она. Клептоман возмутился: как вы смеете, не понимаю, о чем вы. Мы должны вас обыскать, сказал охранник. Кактус плотнее уходил в заднее мягкое место. Но поскольку при обыске у него встало переднее, то ничего не нашли. Так бывает после свадьбы, когда вызывают скорую помощь и извлекают розы из ануса невесты. Когда-нибудь кактус все равно найдут. Срок дадут условный.

Вол Ман, кроме планетария, держал еще и обсерваторию, которая помещалась у него в голове. Однажды он побрил свой глобус, и он покрылся подтеками, как надетый чулок, и стало понятно, что его волосы и борода были действительно синими. Он любил показывать на своем лице манду, и он знал в этом толк. Вечно в военной куртке, в сандалиях, он прокручивал большое годовое колесо, так был устроен его календарь. Он забывал только что сказанное и выдавал его как новую мысль, каждый год в один и тот же день. Но на самом деле вращающийся шатер над головой мог прокручивать множество историй от основания мира, каждый раз начинающихся с одного и того же слова: в основании мира лежало искажение,

запинка, и поэтому каждый день из квартиры с желтой плитой, им внесенной, он нес мне жалобы о том, что жизнь прожита зря, жалобы и мечты лились, как дождь, под которым мы шагали в первую нашу встречу от здания на Восходе с большой горы, в зеленых плащах и под гору, перешептываясь и повторяя одно и то же о любви и пневме воздуха, как в первой встрече Джека Николсона и его друга индейца. Красота сытых мясистых синих глаз сопровождала меня до тех пор, пока он не позвонил первый раз по телефону. С тех пор я знал все истории, которые обещал никому не рассказывать. Еще через десять лет эти истории знали уже все, это было то самое устное предание нашего дистрикта, которое я начинаю уже забывать, как вот этот фрагмент: я лежал на кровати под портретом девушки с зонтиком и притворялся спящим от страха, когда он рядом нависал и шептал нежности над белой и смеющейся Сью, которой было надо продлить эту линьку, чтобы потом назначить встречу, на которую можно было не прийти. В другой раз его ребенок видел, как они целовались в коридоре, а мать унимала его, плачущего и дико возбужденного, кудрявого и размахивающего мечом. Возбужденное длинноногое дитя спорило и ругалось, глаза неспокойно горели, оно билось, кричало гневливо и горделиво. Пока Вол Ман сидел полуголым на кухне, смотрел телевизор, ел полезные овощи и при-

нимал потусторонних гостей. Эти дети родились помимо моей воли, говорил он. В банях, где множество женщин и мужчин сидели голыми, а вожделенная всеми не снимала трусов и бюстгальтера, пока не подошла к ней ее раскрасневшаяся сестра и не сдернула одежды, все сидели немые и разговаривали об отвлеченных предметах, ловя кайф и смех от кастрации. То есть это женщины с огромными перьевыми ручками рисовали синим на красных удовольствиях, и все вместе мечтали, как будут отдаваться грозово в другие разы. В других зданиях, и их привлекали больше самостояки с автостоянки с отрубленными головами и торчащими оттуда треугольниками, которые бесконечно летали по кругу и не верифицировались никак в человеческом теле, пляшущем на битых осколках, садняще кричащем от боли и между тем планомерно уплывавшем в неудержимое бешенство, пока не прибегали пьяные санитары.

На ковре под портретом светлые утра с белесыми сумерками заставали всех в общем и нежном пробуждении. Задавака и заводила Косицына говорила, что самое лучшее — это общее похмелье, когда ты так легок и едешь в дальний район в магазин грампластинок. Однажды так и поехали, теряя в памяти дорогу и зеленые укачанные лица, и распили в итоге на месте коробку кефира на четверых. Кефир, пачка «Беломора», молодые

и словно из облака возникшие весенние друзья, после зябкой ночи на балконе, где нас заперли с длинноногой и длинноносой Косицыной с двумя метелками хвостов, в длиннополой рубашке с испуганным и пузатеньким лицом. На улице было уже холодно, и Сью, которая закрыла нас, ждала, что мы будем делать там. Мы стояли и тихо околевали, потому что не было никакого желания обниматься в столь нелепой ситуации. Она стояла и смотрела, ожидая, пока станет уже не смешно, а так холодно и зябко, как обеззараженным до безразличия и брезгливости дохлым лещам.

В этой же квартире, живя попеременно с запойным отцом, которого она отваживала и которому с детства лгала, произошло еще два утлых и непонятных события. Сначала мы курили цветы, которые тогда можно было привезти из Румынии, просто бросив охапками в рюкзаке в поезде, в сильном облаке, в которое хотелось превратиться и стать Алисой, у которой выросли ноги и почему-то голова, той Алисой, в какую лучше обратиться, сидя за шахматной доской в ЦДХ. Бормотун что-то рассказывал, а оргии все не начиналось, а испытатели нервов все пытались посмотреть на себя со стороны — и да, такие моменты случались, когда мгновенный бзик отбрасывал взгляд на себя самого. И потом еще на чьем-то дне рождения Виола бегала с этим Бурмистровым из

Румынии, куда тогда ездили европейские университарии, пила и пела с ним так, что сломался лифт, а тот на следующее утро в лесу не узнал своего одноклассника Василя, потому что ему разбил лоб ставший ему ближе всех потом Черный Жиголо, ласково потрепавший и меня по щеке. Но и тогда почему-то не было никакой оргии, Сью и Косицына просто лежали и смотрели, покрикивая меланхолично, наблюдая за праздником двух дураков, вроде тех, которые переворачивали в ночь на Ивана Купалу все «запоры» и «москвичи». Василь был сторожем в поликлинике по соседству, которую запирали и бегали по этажам, разукрашивая лица, выпивая портвейн в чебурашках, 72-й, «Узбекистон виноси» и только много позже уже «Алушту». Целые сутки проводили тогда в этом здании пустой поликлиники, и никто об этом не знал, периодически отделяясь парами и улетая для поцелуев и прогулок, о которых никто не догадывался, всякий раз переворачивая кубик рубика, реверси и игру в быков и коров. Так продолжалось, пока не разбили дверь. И только Вол Ман знал потом, кто был первым мужчиной у каждой, и видел весь гарем целиком, оставляя сутулым и короткошеим задротам посиделки у магазина, посыпание земли пеплом и колдовство на вафлях.

Взгляд на себя со стороны бросить удалось пять лет спустя. Мы с Косицыной долго ходили дворами, пока

не пришли к Сью, у которой находилась незнакомая мне тайка. Тайка все время молчала, показывая английские журналы с Бароном Коэном, о котором здесь тогда не знал и не слыхивал никто. Шесть лет спустя Вол Ман показал мне ее дневник, который она вела на английском. Так я узнал, что меня зовут Силифакером, который, бодро орудуя костылями, проявил в этом деле довольно большую ловкость, и обнаружил в ней, тайке, расположенного собеседника, хотя видел ее в первый раз, и начал ей рассказывать нечто задушевное, потому что все остальные молчали и так молча просидели три года. Вол Ман сказал, что Косицына была слишком длинноногой, тайка — слишком незнакомой, а Сью — слишком вожделенной, и три эти девицы под окном себе на уме думали, что Сью, конечно, принцесса, которую добивается не один инвалид на костылях, а им-то, как сестрам по разуму, это приятно видеть, потому что они-то все равно выйдут замуж, а принцесса Сью останется женщиной для всех, которая слишком мало знает и потому позже всех состарится. Трехголовый цветок, который я увидел и для которого заболтался тогда от бодрости ног, не знал, что я пытаюсь вожделеть только рожицу Сью, и ношу, когда нет костылей, свое крытое пальто, нацепив на него шарфик и шапку «Мэд Бомбер», как нашего ребеночка или куколку спицевидной инвалидской бабочки про-

фессора Илизарова, и хочу сообщаться с ней только душевно, то есть посредством платонических пламенных чувств. Принцесса Сью, с которой я пытался так изъясняться, умела только молчать и была такой пустой, как комната или крона дерева, в которую зашло солнце. И вот она грелась, грелась на этом солнце, и умела только молчать, и любила слушать что-то высокопарное про любовь. Она еще говорила тогда, что мы одинаковые, кудрявые, но я в душе до сих пор не ебу ее джинсов и наполеоновских секонд-хендовских курток, ее пьяного красноглазого поросячьего визга, когда она могла испытывать чувства, доходящие до оргазма, и я до сих пор не могу понять, зачем не притронулся к ней, из какого страха, когда ей хотелось лишь только восторгов и танцев в кальянной с названьем «Клюковка Табу», мутабор тебе, Косицына-Аистиха, и зачем она до сих пор является мне во сне всегда желтой, рассохшейся, бесконечной по времени кроватью, на которой лежит, как умирающая старуха, когда обходит, видимо, те комнаты, где ей так трудно было дать тому, кто не уговаривал бы ее как Вол Ман, не нависал бы над ней, не потрошил бы кур, и не показывал своей синей бородой, какой у него большой гарем, и не думал, что мне это нужно знать. Но теперь я это все, увы, знаю и буду рассказывать вам по складам.

А тогда этого всего еще не случилось и вообще не

было никаких происшествий, Игореза не привязывали к батарее, Дэн Банан не передознулся, Дятел Аполлончик еще не печатался в «Колонне Публишерс», девушка, похожая на кевинсмитовского боженьку из «Догмы», еще только начинала читать про то, что кончить на чулок возбуждает мужчин, а «Интервью с вампиром» еще только вышло на экраны, и рыжая эльфийская карлица еще не рассохлась в колодце под утренними лучами вместе с укушенным за шею ребенком, которого я называю здесь Сью, и американский оборотень еще не поехал в Москву.

Глава вторая

Две девушки, одна постарше, Виола и Трубочистка, разглядывали друг друга. Потом Трубочистка показывала свою любимую модель Вол Ману. Будущий православный, как они в прошлом, домостроитель, а тогда — панк-мотоциклист, с женским причесоном и соловыми глазами, открылся: надо было попробовать все: и полежать под выхлопной трубой, и пополоть огород лесбиянки, и получить зеленый пояс по карате, и быть избитым пятерыми, и не забыть спросить у меня, зачем тебе моя майка, Зизу, может быть, хочешь мою сестру? Надо было попробовать все: и побегать на палящем солнце и потом блевать с бакона, и полетать из сорокаградусного мороза Якутска в мексиканскую жару, чтобы почувствовать

настоящую боль, такую страшную, как смерть Моджо Райзена. Только нельзя мыть в его раковине сапоги тебе, Виола, забудь про это, забудь про меня, как уже забыла, забудь про Вола Мана, как он все забыл. Скоро тех, кто все помнит, начнут выкуривать из избушек. К чему ни прикасаешься мелком, все стирают тряпкой с доски: самолет не торчит из здания, на башне самоубийц больше не написано «Дина, я тебя люблю», больница-тюрьма срыта, из-под нее выужены два скелета, прям как в ту питерскую грозу, когда зашибло влюбленную парочку под деревом. Нет больше бумажных десяток, есть лишь умалишенные духи, что носятся по улицам и глядят сквозь головы на просвет.

А пока Трубочистка и Виола идут по песчаным и розовым дорожкам осеннего леса к концертному залу. Там они гримируются все в черном и знают все ходы и выходы. Почему-то все оцеплено солдатами, которые бегают и ловят молодых разгоряченных людей. NSK прислал «Лайбах» в НСК с единственным концертом. Через двадцать лет на улице мне встретится Марина Гржинич и пройдет мимо, и это будет уже не тот город, куда поехали Трубочистка и Зеленограф двадцать лет назад. Тогда их еще не ушатывало друг от друга на двадцати шагах. Но тогда уже Трубочистка вплавила в камень своего «мальчика», сделав маленькое настольное надгробие.

С трубой и тамбурином пришлось расстаться, они стали ненужными, потому что забились слюнями и порвались. Трубочистка со знакомым отправились в лес к большому дереву в лунную ночь по росе, в лес и овражец, где когда-то играли в прятки ввосьмером, а теперь зарыли одежды и барабаны в корнях. Была промозглая осень, и барабанщица, которая боялась каждого куста, который мог оказаться переодетым циклодольщиком, останавливала своего спутника умными речами. Она знала, с кем идет и перед кем не запирается в ванной, это был мирный тихий мальчик, которого самого следовало бы изнасиловать. Папоротник уже отцвел, и хотя она была совершенно нагой, а мох совсем сыроватым, из спутника ее не выбилось даже дроби рассекаемых спичек. Одежды погребли под деревом и сами бросились спускаться по ивняку к речке, а оттуда как полил вдруг щучий дождик, и белая вода, стекавшая по листам на рассвете, говорила о том, что трубы и пробитого барабанчика уже не найти.

С Виолой было покончено совсем иначе. Виной всему послужил раскрашенный восточными звездами и красными узорами гипс на руке, которая потом перестала работать. Вол Ман решил прокатить Виолу на велосипеде зимой, как модно в наших краях, и, не справившись с рулем, неловко упал на нее. Это было одно из

первых падений в жизни смелой колдуньи, что вкупе со смертью ее учителя стало первым горьким ее профессиональным несчастьем.

Когда он умер, была большая ярмарка в городе, был август, а движение перекрыли из-за приезда высокого должностного лица. Она ранее смело ездила в город по большим праздникам и там знакомилась с разными веселыми красавцами. В предыдущий праздник она познакомилась с мужем, а сейчас муж застал ее с любовником на набережной. Они бархатно целовались, потому что вокруг росли бархатцы. Муж помолчал и поехал по дальнему третьему крюку через перекладные электрички, да и уехал до осени.

До осени Виола чуть было не опоздала на поезд до города счастья, куда покупались билеты у сварливой хамки-кассирши в платке. Там они бегали по большому мосту и трахались на полах и кроватях уехавших на озера сестер, белошвейки и королевны, пока он не заглянул в ее паспорт. Расставание застало его рыдающим на вокзале, слезы счастья текли и таяли, и никто не знал, что первая, которая дала, окажется единственной.

Обходили старые дома, пили пиво, блуждая в уличных речках и протоках, мимо базарчиков, которые искрились в лучах стекол. Когда поехали на кладбище, просто так погулять, он забрался на будку туалета, а она

плясала на кладбищенском круге, подбирая по-цыгански подол. Египетский музей был закрыт. Виола уехала, чуть не слетев с первого столба, по которому спускались под крики вернувшихся озерных сестер на веревках из-за дождя по подземному гроту, под крики сестер, которых позже пришлось возненавидеть.

Он бродил по городу из конца в конец, пьяный валялся на острове Отдыха, проходил через фонтаны в жаркие дни, напиваясь медовой «балтикой», и затем садился на кухне на сеанс магнетизма с теткой, и рассказывал ей о своих братьях, которые сидели по левую руку спиритического стола в своих комнатах и глядели из темноты.

И потом, застуканный мужем с ключами в штанах, которые успел едва нацепить, почему-то не думал ни о чем: ни о том, как через два года придется запираться с Виолой в квартире и не открывать дверь ее новому мужику, найденному на пляже вместо потерянного крестика, ни о том, что однажды на родной «ниве» Уя Дрока медленно начнет ехать и ползти колесо, и машина плавно въедет в дерево, а Уй Дрок все простит Виолетте.

Походы на реку, полуголая, как лошадь, Виола нацепляет пальто с королевскими английскими пуговицами и пускает дым изо рта, «житанез» без фильтра. Зеленые кроны и сумрак грозы 11 сентября, и радио-

приемник бывшего мужа, сообщающий о каких-то самолетах, затем поездка в город, которая случалась тогда ежедневно, и, не поверить глазам, действительно на Манхэттене, тихие колючки ботанического сада, тихий развод и отбытие мужа в другой город в степи. А перед этим истерика и дикий припадок гриппа в общем вагоне, валяющееся как труп тело и выздоровление в болотной луже, пока льется манага и не дают уснуть крики из соседней палатки, такой «Кактус Фикус» и обезьяна зимой.

Последняя «Живая вода» с красным угаром на третий день в первом составе организаторов. По январю Монголец загадывает вуду человеку из Кемерово, которого больше никогда не встретит, а тот ему и отвечает, это моя жена готовила вам здесь салатики, и за наши деньги «Нова Культуры», которые оставляли без тормозов и лились рекой, так что к тебе можно прикоснуться и схватить за кармашек, коснувшись груди, — ты бы паузы делал, певец на свадьбах. Единственная встреча с этим субъектом, от которого даже не помнишь лица, выступление во «Вдове», с вывертами пальцев, с исполнением песни про грузина Камикадзе и его дочь Гонсалес, и затем вдруг первая авария, когда тот, против которого делали вуду, вылетел через лобовое стекло и умер в этот момент от разрыва сердца; тот, что был за рулем и прикасался мизинцем к кармашку рубашки, умер в лобовом

стекле, а третий, разукрасивший прежде то кафе, где потом любили паясничать в шляпах под кактусами и повторяли благоговейно «Мехико, Мехико» со смертными карнавальными масками, кончался в машине от потери крови первого марта, да, первого марта.

Так в последний раз видеть этого человека из Кемерово в белой кепке, воспевшего белые облака, возле магазина «Под строкой», — от которого еще до миллениума тянулись в метро, совершенно пустое и огромное, в шесть утра новогодней ночи, «Цитронная» водка, полевой командир Пабло, любимый друг Фибло, обувающий сапоги и забирающий черный чемодан, и светловолосый Умбра, железный небосвод, непробиваемое пространство, проходящее через голову, как во время бомбометания, чай на кухоньке, от которого веселое счастье и смехи дружеских писем, и два японских друга, говорящие, что Москва на ремонте, увозящие жен в золотом кимоно в далекую страну на востоке.

Отчего-то над головой раскрывался купол земного шара, он носился в снеге, падающем с деревьев в сине-черном ослепительном лесу, когда мы блуждали по сугробам оврага или ехали с горки с запрокинутыми головами и смотрели на небо, когда пробуждались и не могли переубедить друг друга, с какой стороны лежать и кому на ком, вся природа дышала нами в яростном

солнце, в новогодней прогулке по лужам с двумя приятелями, в спокойном и направленном взгляде чудилась новая встреча, а началось все с того, что водил пьяного лисьего друга от ментов и до ментов, и он целовал мне руки, которыми оплатил доставку в детсад на уазике, возвращался в небезызвестный кафетерий «Шторы», кого-то посылал на, и два цыгана и немец шли в квартиру с красивыми плакатами актрис, и немцу снились киты, как он будет долго рассказывать после всем и больше ничего не запомнит, пока я блевал ему в ухо и на журнал «Плейбой», а потом укрывался майским утром на ветхом балконе шубами мертвой бабушки, чтобы меня не побили, а затем, грязный и взъерошенный, шел с Виолой первый раз на море и, сидя на бревне, смотрел, как она купалась, купалась на солнце, любовь обхватывала в комнате ее платьем с красными квадратными бабами, и после пятой любви на дню мы лежали в комнатах, так что ее глаз было не забыть, столь красивых, и зеленых, и томных, и мы были единой душой, накрытые одним зонтиком, как и потом ночью, голые, заливаемые грозой, когда молния била в темноте в воду возле нас, как потом лились и расшвыривались деньги рекой, которая не останавливалась, как и бесконечная работа по поимке Усамы бен Ладена, которую вели переводные СМИ, а потом вдруг пресеклась и остановилась работа по поимке, а послед-

нюю пятихатку чуть не украл алкаш в «Еллоу субмарин», и наступило прохладное лето, единственное, которое мы прожили вместе, и начали уже доставать любовные имена, которые она повторяла по-детски для названий половых органов, и запустила в утро в висок чашку, а я заплакал, и начинали уже мерещиться под плаунами дорожек в светлом лесу зловещие осенние огоньки, и так вплоть до того вечера, когда я почистил зубы кремом для бритья и наутро вновь готов был зарыдать, словно чувствовал, что на посадке в самолет вижу последний раз мою любовь, а дальше ничего не будет.

Тем временем Сью уехала в Питер, где впервые увидела Джаджа, а потом появился и он сам с одним компьютером, и я провожал Косицыну на вокзал в фиолетовой куртке. Провожал как на свадьбу, а не на мертворождение. Джадж все попутал и не сидел в больнице с Косициной, которой помогал только Электронный Джонник. Джонник жил в комнате настолько желтого изнутри цвета с кроватью, на которой были одни пружины, и солнечный ветер периодически уносил его голову, в тельнике и с кудрявой копной волос, от задач ебнутого и расхристанного программера. Косицына улетела в далекую страну, оставив мне донашивать свою полосатую майку. После прибытия рижского поезда, с Джаджем здесь успели пообвыкнуться только до той еще зимы,

он чинил и собирал всем компы, покупал соевое мясо, катался на велосипеде, а потом взял да и забрал Сью в Ригу. Когда они вернулись, наступил новый год и все стали посещать его квартиру на Демакоффке. Он регулярно ездил на собрания фантастов в Москву и Питер, где все фантасты курили одну и ту же трубку, его друзья тем временем сидели в рижской тюрьме за хакерские взломы, а он продавал первые электронные книги, которые можно было верстать самому. Притягательность Джаджа состояла в его смеси лоска и доброжелательности, хотя он всегда походил на утопленника, играл в шахматы и развивал центробежные теории языка, как робот Самоделкин. Он тренировал мозг тем, что усилием мысли пытался послать передвижные импульсы сквозь монитор, аскетически и ненавязчиво питался, курил трубку и угощал всех салатами в новооткрывшемся в «Доме книги» ресторанчике, которые тогда были в диковинку. Добрый малый, и если бы не компостирование мозгов Сью и ранняя самостоятельность ее брата в изготовлении прорезей на лице, он был довольно прост в обхождении, так что сама Трубочистка даже попробовала перетереть с ним в отместку Волу Ману, а с Виолеттой он однажды, а, может и не однажды, просто заснул на одной кровати.

Тем летом Виола попала под машину, поскольку слушала музыку в наушниках на велосипеде. Тогда был

жаркий день, и когда она об этом сообщила, даже не верилось. Чуть позже и я перелетел через руль. На балкон тогда часто приходил Бобин, который уже перебрался в Питер и проявлял там в течение шести лет фотопленки. Они приехали с подругой Диполь и все ломанулись на красную дачу Виолы, в прохладный большой дом, и по дороге своими гадами Черный Жиголо раздавил пять лягушек, а потом таскал эту самую Диполь за волосы в черной темноте. А осенью мы поехали в зоопарк играть в Ницше, и в город впервые привезли «Оболонь», что я пил, уволенным из магазина «Титаник», возле которого продавцы ходили в игорный клуб до тех пор, пока одного из них, Алишера, не сбила машина. Тогда одноногий Сильвер Николыч еще ходил по улицам, в своей джинсовке, волоча вторую ногу и преодолевая километровые расстояния на костылях.

Тревога постепенно подступала ко мне после истории с той девочкой, которой перерезал горло без всяких мотивов убийца, которого до сих пор не нашли. Тогда же я последний раз в его жизни видел женоподобного Матвея, который жил в квартире за стенкой, а его отец в одних трусах выгуливал свою собачку в мороз. Черные чопорные липки в аллее возле квартиры тети Гали виднелись сквозь шторы. Мы любились с Виолой и там. Но она начинала капризничать. В тот год Стен, разорвавший подколенное сухожилие, прожил у меня полгода.

Он лежал на одной кровати, и мы пытались на другой дождаться, пока он заснет, чтобы ласкаться. Это было волнительно и казалось, что будет всегда так. Господин Гнев в тот год кинул впервые на деньги вместе с господином Павловским, и я начал понемногу не спать по ночам, а потом и поехал в Москву, где меня так оскорбили. Я спал на кровати Идели, а рядом лежала Марьяна, маленькая, как ребеночек. Идель показал мне свою Москву, там он поцеловал меня в последний раз, там я сошел с ума.

Я вернулся с Потешной, той самой, где лежал и Чурилин, и стали мне везде видеться эйфорические и страшные картины, из горла неслась чернота, и я стал изводить Виолу, пытаясь заглянуть за зеркало сквозной квартиры, и своими бесконечными платогинекологическими посланиями к московским подружкам. Тогда умер черный кот Люпус, а я постыдно лежал на диване, пока он не испустил дух. Мы слишком поздно повезли кота в больницу, а моя тетка посмотрела на это сквозь пальцы, и это было уже хуже сломанной руки виолончелистки, это было первое непрощение. Еще я перестал хотеть заниматься любовью, бормотал, просил курить сигареты «Ява», и началось страшное полугодие белого ужаса, когда становилось жутким выходить из дома, идти на море, а во сне сводило ногу, так что я испинывал Виолу, впадая в детство и прося перечитывать себе

«Мишкину кашу», уезжая на Северный микрорайон на другой конец города, где учил детей русской литературе, которой совсем не знал. Одна из студенток сказала мне, как правильно называть Андрієм сына Тараса Бульбараса. Так моя жизнь оборвалась в первый раз. Сквозняк черного затмения вышел из нее и установился в округе.

Глава третья

Зеленограф написала картину с вожделеющей женщиной. Ее желтое лицо и карие глаза были списаны с прототипа, о котором известно было по рассказам. И Вол Ман рассказывал об этой женщине, да и я видел и пил с ней, Владой. Однажды мы пошли с ней к набережной на выезде с Фабричной, и она сказала мне, что если дойти там до одной полянки, близкой к железной дороге, раздастся возглас командира «опасная зона» и «буду стрелять». Я не видел ее десять лет, а в последнюю встречу она почему-то спросила, иду ли я в «СИФИЛИС», как в народе именовался институт филологии. Прежде красивая с золотыми кудрями, она была похожа на самоедку в тот день. Через год она умерла, и мне было сказано не знать об этом.

На двух других картинах был изображен Вол Ман, целующий ноги профессору Чумакову и потакающий Зеленографу. На третьей картине пять человек с пиками кололи медведя, это было еще одно вуду-изобра-

жение. Пятеро: Косицына, Сью, Бобин, Черный Жиголо и Виола. Вол Ман тогда уехал в Москву, где сидел в пустой квартире, не спал ночами, курил и желал Зеленографа, как водится. Чем дольше отдалялся Вол Ман от своей возлюбленной, тем скорее наступал рассвет.

А осенью мы уже работали в магазине дисков «Астарта», где мой старый знакомый Ден по прозвищу Мерзкий нашел там себе друга Сережу Впопулежа, и они принялись безбожно стучать на других продавцов и не любить нас. Продавец находился в магазине двенадцать часов, стоя на ногах, не должен был воровать кассеты и диски, а должен был учиться их продавать. В один из дней Стен уехал в свой, как он называл «Город Счастье», который он, всласть покувыркавшись там десять лет, и во время приезда его лучшего приятеля Поэта Милиции чуть два раза не бросив копыта, и затем, как уже сказано, натешившись там, улетел, как карлсон, в Подмосковье, забрав туда всех своих детей, и оставил родителей без дочерей. Первая из них, младшая, сначала подверглась ограблению британскими неграми, а затем превратилась в московскую старлетку, золотце родительское, циничное существо, и вот уже тут запахло Мексикой, где им сделали свадьбу с пополневшим лидером рок-команды. Вторая сестра, военврач, посаженная под домашний арест воцерковленным пункером, вдруг тоже оказалась

в столице, а родителей, которых воцерпункленный Стен очень любил, бросили доживать одних, в городе счастье. В жизни Моджо Райзена происходит много всяких несчастий, от смерти дяди, бабушки и дедушки в Кузне до его бесчисленных перелетов от двери к дверям, из окна в окно, отскочило колесо, съехали в кювет, ударился об угол стола пальцем, который от этого переломился, выгнала из дому первая, венчанная, супруга.

Ну вот, вместо поездки на бракосочетание в городе счастья я попал на свадьбу к подруге Виолы, после чего она спасла мне жизнь, поскольку я вывалился из такси и ударился подбородком о поребрик, а она дотащила меня до дома, где меня перевернули со спины на живот, что в таких случаях, как показывают примеры, обязательно, правда, надо еще уметь контролировать равновесие во сне. В тот вечер я где-то блуждал по району и видел перед собой матрицу огней. Да, работали мы в синих рубашках магазина «Агафья», с сексотами-карьеристами, и вот последовало увольнение, вскоре после известия о смерти моего одноклассника, и я предпочел пьянствовать один, чем ехать на свадьбу в город счастье. Вместо меня свидетелем был назначен Василий Теркин, который нередко просыпался не зная где, расстреливал автомобили из травматики, а на перекрестке возле Пентагона подошел и сказал водителю, сбившему пешехода,

— ты человека убил, чтобы тот не орал и не матерился.

Я продал Pocket PC и убежал из дома, очутившись снова в Москве, где собирался остаться и где Инесса встречала меня вся светящаяся в прохладном и заиндевелом троллейбусе на Савелу, а Ирена вписала меня к себе, после чего я довел ее и О. Фролова до выкуривания двенадцати одновременных тоненьких папирос в бессонную ночь, на рассвете которой мы проехали сто метров на такси и оказались в Медведково, где я стучался в квартиру 666 и мне открыли, и где все столбы были обклеены портретами Новодворской. В нарастающей утренней жути я отдал О. Фролову водку «Порожняк», от которой меня чуть не срезало, и он ретировался, потому что не мог больше выносить моего присутствия. Через пять часов я был схвачен друзьями на Цветном бульваре, прежде чем меня чуть было не продали в рабство, а ночью диким криком ужаса разбудил всех спящих детей Пабло. Так я сказал Виолетте, что я уезжаю навсегда к другой девушке. И, понятное дело, вернулся обратно очень быстро вверх тормашками и с горячей головой — рассматривать названия из радиотехнического словаря, которые светились, как буквы первого в мире алфавита. К слову сказать, побег сорвал все нервы Виоле, потому что мы страшно шифровались от родаков, отрубали телефоны, а она ждала меня, ждала, хотела услышать хотя бы пятиминутный

звонок, пока я ходил по Большому и Малому Каменным мостам, в голос горланя песни, и садился, как Шалтай-Болтай, на высокие стены, а черноволосые хипповки подавали мне, как блаженненькому, горячий кофе, пока я обнимал и слезно целовал клоуна в Макдональдсе. Уезжая, я позвонил Артемис, и она сказала, что вокруг нее восемь спящих, а в ответ на заявление, что Велимир сидит и жив, она спросила, кто же будет стирать ему носки. Вывезенный мной компьютер с монитором доставляли обратно друзья, чертыхаясь и матерясь, и опоздали к поезду из-за пробки. Так я сорвался с крюка во второй раз. Радуги и лыжня самолетов над рассветным вокзалом, где провожавшие, распрощавшиеся со мной навсегда, Виолетта и Джадж посулили мне столько счастья, что им не выгрести из опавшей листвы за тридцать осеней Пятигорска.

Глава четвертая

Когда еще были кассеты, была у меня одна кассета. На одной стороне был трибьют Курта Вайля «Сентябрьские песни», которые пронизывали мой воздух и в осенние погоды, и в зимние прогулки, когда Сью видела меня с огоньком сигареты с двадцати шагов и не окликнула или когда встретилась Трубочистка и пришла первый раз около четырех утра в Новый год ко мне в гости с Волом Маном, а я ползал все это время по оконному стеклу, как муравей,

ожидая, когда-когда же придут они. А на другой стороне был записан альбом Скримина Джея, самая популярная из его записей. Я так стремился поделиться своим счастьем и горестными думами с кем-то, кого обычно называют друзьями. И вот отдал его двоим своим приятелям, Дебилам Бодрым, послушать и разделить со мной мое несчастье. А они, встретившись вместе и подвыпив, и как придумал бодрейший Дебил номер один, и добрейший Дебил номер два его поддержал, стали они звонить на радио «Европа-плюс» и дозвонились туда, о чудо, на радио, где все заказывали музыку и передавали приветы. И вот Дебил Первый сказал, а давай передадим привет похищенному генералу Шпигуну, судьба которого на тот момент оставалась неизвестной. Вот позвонили и стали ждать появления своего привета в эфире, и записывать эфир на мою кассету. Первую сторону с Куртом Вайлем они затерли, а привета все не звучало и не звучало в эфире, что им прискучило, но потерлась еще часть и второй стороны кассеты. И тут они решили узнать, что же это были за такие магнитозаписи. Черт, так это же Скримин Джей Хопкинс, сказали они вслух одновременно, воскликнули даже, и били себя по лбу и по жопе. Так пусть же отомстит им покойный генерал, пусть каждую ночь во сне им является.

В другой раз на мой адрес пришло письмо из милиции на чужое имя. Я долго не хотел вскрывать письма,

мне не предназначавшегося, но когда спустя две недели поступило повторное письмо из МВД по такому-то округу такого-то города, и я встревожился не на шутку и открыл конверт. Там сообщалось, что жалобы адресата, чье имя было указано как проживающего по моему адресу, по поводу безобразия, учиненного ему милицейским чином, устранены, и чин, признанный виновным в ходе внутреннего расследования, был уволен из рядов, и именно по просьбе пострадавшего повсюду в подъездах установили камеры наблюдения, а остальную, менее здоровую часть посланий этого адресата следовало разрешать в медицинских учреждениях, а в МВД удовлетворить эту просьбу не могут. Озадаченный, я стал всех обзванивать, пытаясь понять, что бы это значило. С большим трудом я отписался от этих писем. Прошло какое-то время, пока я случайно не узнал, в чем было дело. Мой товарищ с веселым смехом, который, по его признанию, не мог унять полчаса, рассказал Дебилу Бодрому II, что, оказывается, десять лет тому назад обнаружил на лестничной площадке одного подъезда вскрытое письмо, адресованное человеку с той же фамилией и инициалами, что и у сочинителя. В письме в крайне дремучем и непонятном стиле были описаны творимые над ним неизвестными чудовищные безобразия и унижения. Так как письмо было вскрыто и оставлено без ответа, мой знакомый реквизировал его. Вспомнив

о том, что брать чужое нехорошо, он спустя год отправил письмо по одному из указанных на прежнем конверте адресов, но, будучи не уверен, что дело безумного старика, над которым творили бесчинства столь ужасные, что и вообразить нельзя, не будет решено в пользу пострадавшего, указал совершенно чужую фамилию и, ради шутки, мой адрес и отправил это письмо в бутылке попутешествовать по морю. Теперь же, как он и рассчитывал, я был уведомлен в том, что потерпевший получил удовлетворение, и возрадовалась душа его. Оказалось, правда, что пострадавший все свои письма и жалобы, которые он продолжал писать пачками, подписывает теперь этой чужой фамилией и указывает мой адрес. Я немедленно сообщил об этом в соответствующие органы, и к моему знакомому вскоре пришли с обыском и обнаружили исходный вскрытый конверт, который он решил сохранить на память. Его бы посадили, если бы он спешно не распродал одну государственную библиотеку от имени подставного лица и на вырученные деньги не улетел на частном самолете в столицу Непала. Чтобы полностью обезопасить себя, по пути он выпрыгнул из самолета с парашютом и, сломав себе обе ноги, затерялся в джунглях.

Этот Децимус I был крестным братом Виолы и любил приходить к ней, пригожей, и принимать ее у себя в прихожей, пока учился еще в школе, но червон-

ная дама — его мать — выражала всерьез какие-то опасения, а потом он просто решил обтереться лопухом, как поступал всякий раз со своими друзьями, совершенно не замечая того, глядя сквозь светлые, как у Джона Леннона, очки и видя мир только в тонах радужных. Однажды он похвастался, что был на празднике пива в Санкт-Петербурге и выпил его шестнадцать литров, но умудрился не заблудиться и добраться оттуда обратно пешком до НСКА. Как раз в это время его друг Ява находился в экспедиции по сбору фольклора. Школа, где они поселились, граничила территориально с дурдомом, и женщины с плачущими голосами, словно скрипичный концерт осенних деревьев, в которых ломаются петли веревок, дышали в его сознании. Когда он вернулся, то обнаружил, что лучший друг увел у него жену, и хотя Децимусу потом и снились пятичасовые кошмары, его не преследовало особых укоров совести. Сочиняя песню про Штаны Муравьева, он не предполагал, что предаст и его, переходя из фирмы в фирму и видя перед собой лишь хрустальный мир моста, на котором стоят пять веков и на котором звучат шестнадцать леопардовых корон языков, да только речка не Двина, не Дрина, а речка-говнотечка под ним, полная говна. Целостность картины мира и языка, вглубь расширяющего сознание и протекающего на коврик вундеркинда, до чинов ангельских созданной им

комиссии по Дионисию Ареопагиту, утекала в прожорливое жерло Ануса Сатаны и меняла точки приложения его зада. По-птичьи на моем балконе, на насесте хохлушки Виолы, в окопе, где он чуть не подорвался на искусственной гранате, на ковровых дорожках мэрии, где он кидался пирожками в покойного губернатора Муху, в своей конторке, где он продавал с конторскими счетами свою библиотеку, подумав, накидывая новый ценник, чтобы мир медленных венгерских поездов, медленнее, чем лифты, и еще более медленных индийских, — везде проходила межа его сосущего рта и сияющей истины его очков, которые он периодически бил и утрачивал свое положение на географической карте...

В тот год я проходил по переходу станции метро и почувствовал запах снега и песка, насыпанного на полу. У меня случилась ветряная оспа, после которой я перестал быть похожим на самого себя, так что мне подарили на день рождения майку с котом, закинувшим руки за голову, лентяем. Я и сам стал таким котом, с просквоженным черепом, и у меня выросло грыжевое пузо, от которого вовек не было избавления. В тот год мы впервые обзавелись сотовыми телефонами. В день рождения Вола Мана мы приобрели такой Виоле, а потом поехали на день рождения. Хотя телефон был куплен напротив его дома в «Евросети», под которой позже подорвали ап-

теку, отправились мы на дальнюю улицу Есенина, где собралось много здоровых мужчин, которые соревновались в борьбе на полу, и Вол Ман заборол Черное Жиголо, но при этом не произошло такого эпизода с кровавым помазком, как в квартире у Сью, потом я с немыми ногами соревновался с Монгольцем в горловом пении. И он пропел: «Ты уже сел в самолет и лети бом-бом-бом-брамсель Колумбу в пах он входил в кабаки как в ладони гвоздь пока она ела ветер в тени судоверфи и они и мы тогда не знали о чем идет речь но мы все никак не могли хотеть чего-нибудь ничего кроме смерти». Это была последняя встреча всеобщего братства могильщиков, строителей бронзовых памятников и художников, после которой все разбежались вокруг света и забыли повторить волшебное слово «Апокали́псис, остановись».

Глава пятая

Прошло уже десять лет с тех пор, как Вол Ман построил огромную статую Золотого Цыгана, его огромный дом и изваял сто золотых горшков с красивыми орнаментами, сад камней, акведук, идущий из ближайшего ручья. Прошло уже на тот момент десять лет с тех пор, как они с приятелями брались разгружать вагоны. Прошло уже десять лет, как нас не пустили чистить снег с театрика ДК в левобережном лесу. И в тот год чистить снег взялся путе-

шественник по Аргентине и темному Берлину марафонец Бодан, который еще в глубоком детстве проткнул мне глаз оставшейся с Нового года красной еловой палкой. Что мог сделать мой кленовый прутик, насаженный на крышку в этой игре в мушкетеров? Что мог сделать его смех с братом Сью, когда она, желая обморозиться, хотела заснуть в заснеженном лесу, но вместе с подругами вымыла его огромную квартиру после смерти его доброй матери Розалии? Что могли сделать древесные грибы, за которыми он ездил далеко в тайгу, против рака? Что могли сделать его сломанные лыжи, когда, брошенный уверенными туристами, он в сорокаградусный мороз пробирался до ближайшей избушки наугад? Как текло тогда время, быстро ли, медленно, долго ли, коротко ли, это сейчас оно кажется нестираемой плоской фреской, нанесенной на дырявый и продуваемый снежным ветром холст полнолуния.

Тогда время казалось огромным, как московское метро на станции «Комсомольская», тогда оно в своей безобразной огромности могло сделать рывок подобно статуе, отрывающей ногу от постамента. Тогда она легко пробивала голову излучением первых мониторов. Тогда, разгружая вагоны, два моих товарища могли зайти в вокзальную шашлычную, и через секунду один из них оказывался в пяти километрах оттуда на площадке перед огромным лабиринтом библиотеки, а на вторую секунду

наступало утро, и потом выяснялось, что за эту секунду друг успевал дотащить его дотуда на себе, а потом в непонятках проснуться у себя дома в десяти километрах от этой пустой площадки с газоном, очень уставшим. Тогда могло быть так, что сквозь затмение солнца в голове и летящий ветер мелких золотых частиц мне могли явиться две сестры в кофейне, что стоит уже десять лет, и через десять лет эти сестры могли вырасти до своего нынешнего возраста и не гонять гусей, только тогда, на двух днях календаря, 1-го и 7-го бессонного января, открывались сны, которые сбудутся через десять лет, когда уже некому будет верить в них. Кто ж поверит, что ты видел во сне, что в 2012 году Вол Ман скажет: «у меня дежавю», а ты вспомнишь, что именно на этом месте в том сне он произнесет дурацкую фразу, и давайте покончим с ясновидением, «я отдал сорок тысяч в МММ!»

В мае, не влезая в штаны, я купил кагора и решил попроведовать Виолу, с которой обычно трижды на дню перезванивался. Взял бутылку с собой, а кагор мне пить уже запретили, поехал через три района той дорожкой, какой, бывало, каждый день мотался в тот дистрикт, где все собирали золотые опавшие листья. Светлое солнышко, светлое, как сквозь майку полянка возле ТБК, здесь вот могли быть следы от ее велика. Думалось мне, что она погибла уже и воскресла на Пасху, — то всякое раз-

ное теплое солнышко приносит нам радости, то град на дорожку, то снег в кровь и творожку. За овраг зашел, зашел в дом и пил там этот кагор. Было пусто в доме, сидел там только некормленый Кот Глупозавр, который любил тогда уже садиться мне на воротник и которого за год до того мы блохастенького подобрали, и девочки отмывали его в череде. В тот день оказалось, что дружит моя Виолочка с мужиком годков так под пятьдесят, найденным на пляже, ломящимся в квартиру выяснять отношения и называющим меня Вазеком. Делать нечего, я ведь на заводе работаю тоже, стал я этого дядю отваживать, а он мою душонку сильно пугал. А тут еще господин Гнев решил, что мне надо заработанные и украденные деньги на РИА «Новостях» снова отработать за переводы, только деньги те уже рекой не текли. Вот стал я шкряб-кочеряб на двух работах подъедаться, а по осени выпросил отпуск, в который отправились мы с татко моим и с Виолой в Москву, да еще попросили у сестренки моей телефон, на который приходили все время странные смс. Видели мы и Инессу тогда, и представлены они были, и Фибло целовал при расставании Виолу в щечку, и ездила она на сутки еще и в Питер, где Бобин-фотопечатник водил ее в «Чашку» и где целовала она пальцы статуй, пока мы с Данилой и Германом сидели и вспоминали на Савеле про разные наши мамаду да Махмуды печальные и анти-

правительственные стихи декламировали: вспоминали, как спал я за год до того в этой комнате с саквояжем Германа, позже утерянным, как узнал выражение «вы что, все на том свете», как шли мы к Пабло без всяких телефонов с Инессой и Иделью, да то всякое-разное про танец «Пастух и Пастух», которым возле Бутырки друзья мои квартиру эту окуривали. Да как пили мы перед поездом, а потом оказалось, что умер в тот день Жак Деррида, да какую господин Гнев мне вкатил потом, что у его чешской жены выпала бы манда навыволочку по приезду. И платить меньше стали, и на завод ходить мы перестали. А в Новый год поехали мы с Па и О. да с Вио в город счастья, и там нам запретили мыть в раковине сапоги, и сказал мне сопутник мой Битюг: принимаю тебя в мою семью, а вот Виолу, прости, нет, сладкоречиво так сказал гнилые сии слова, да теперь вот меня в мою же семью не принимает хлыщ битюг, подарю ему утюг. А перед тем входили мы с Виолой на нашу кухню, где старая мать моя полировала стены, а мы нагло посмотрели ей вслед. Так случилось, что этот год вышел нам в послед.

На Гоголях высокий Николай с золотыми сединками сидел с нами на лавке, долго сидел и перелистывал страницу за страницей лучистого утра до вечера, как единственный раз видела Виола его и как потом никогда не читала бы больше ни этих книг, ни тех, что стояли на

полке поставленного мной стеллажа, и потом был обратный поезд, так передо мной опять закрывалась Москва.

Глава шестая

Глядя в это злополучное зеркало злорадного и чернеющего по краям, как губы, измазанные волчьей ягодой, пруда, в который валятся листья с темной бахромой и откуда глядит косая Офелия, и ее черный волос остается на моей одежде, я смотрюсь туда и вижу только светлые пятна лужаек и полян, куда заходит только солнце погреть корни торчащих старых коряг. Но как согреться им на дне перевернутого пруда, когда уже собираются клофелинщики у ночных таксомоторов и отправляются на свои разъезды.

Во время одного из таких разъездов брат Фибло, французский поэт, ниспровергатель Бога, как и сам Фил в свое время, прибыл в Москву, увлекся известной актрисой, спускал деньги рекой, не спал ночами да потерял покой. Красивый черноглазый и чернокудрый юноша попал в плохую историю: оказался на вокзале и стал нарываться на кавказцев. Сильно напуганный, он оказался в больнице, откуда был в первый раз экстрадирован, и стал пациентом аптекаря. Мы вспоминали о нем втроем с Пабло и Филоусом, когда в последний раз встретились вместе. Там на видеопленке мы видели Хвостенко,

и с ним молодого красивого тонкого юношу, мечтавшего быть Жилем де Рецем, с темными глазами, и совсем маленького мальчика, читавшего веселые стихи. Красивый юноша прорвался к центру колонны и снимал на камеру автобус римского триумфа, а Бартез, Лизаразю, Тюрам, Блан и Зидан проезжали с венками по Елисейским полям. Затем предстояло опоздание на автобус и пересечение трех границ автостопом с украинскими дальнобойщиками, голод в течение двух дней, направление в полную неизвестность и счастливое спасение. Красивый, как актер, молодой брат, Александр, сбежав от матери и отчима, известного разбившегося каскадера, прикованного к креслу, сбежав во второй раз, оказался в больнице с прободной язвой, сопровождавшейся выходом в делирий и изрисовыванием паспорта: я — поэт, я — гражданин мира, с последующей второй экстрадицией из столицы в столицу. Ницшеанский и маяковский бред в почтенном итальянском семействе, даже если сопровождается плохописью, не умаляет красоты юноши-поэта, отчаянных поступков, настоящей жизни, так лучше, чем быть пестуном семейства Триолей и отравиться, как знакомица этой семьи, которая могла бы полюбить и первого, и второго юношу. А у меня есть эта фотография, где Володя кончается, гори она, как воротник беззубой чернобурки, вечным огнем!

А в тот год мама отправилась в дальнюю поездку на поезде, заблудилась в метро, подруга не была предупреждена и уехала на дачу, выбрались на один день к Кремлевской стене. Меня же тетка своими заботами не оставляла ни на день. В пустую квартиру внесли перед этим новый диван и шкаф, и я помню, что эти белые комнаты и одиночество, как в белой, большой и больной голове, которую нужно закормить колесами и проверять, чтоб не сбежала.

Летом Вол Ман начал пить вино как пьяный китаец. А за год до того произошла вторая авария. Зеленограф поехала туда, белая как полотно, их друг разбился насмерть на машине. Я видел его один только раз. Он был одет в черное и был недоверчив ко мне. Тогда еще, пока он был жив, Зеленограф и Трубочистка сделали кукол, изо ртов которых вылезала бумага со шрифтом, это называлось «три сестры». Они были похожи на них самих, эти манекены, и лишь едва оживали от вечной ампутации и солдатской стойкости. Зеленограф рисовала своих спящих друзей, оборачивая заговорную примету в обратную сторону. Этот человек, прежде чем умереть ин э крэш, дал Трубочистке новое имя. Это посулило страшную перемену судьбы, все вместе, как кто-то наколдовал, исчезнув.

Вол Ман пил все лето красное вино, так что оно превращало летние дни в быстро наступающие сумерки

и потемки. Тогда вино еще можно было пить на деревянных скамьях и в парках. За год до этого они с Трубочисткой, нет, за три года до этого ездили в Питер. Это были лета, раскалывавшиеся, как арбузы, подъезды и арки с тенями, святой запах мочи, разобранный кусок консерватории, поиски дома Харитонова, когда мы разобрали старые обломки коньков совсем другого здания и они потом хранились у меня в кладовке вместе с черепом, что они изваяли, у которого треснула голова. Кажется, что все произошло в один день, когда треснул череп, когда И. разбился в аварии, когда разобрали дом, когда Вол Ман пил вино и тосковал о лете, как наступал его, лета, последний день, как Трубочистка разнесла мастерскую трех сестер, а он все просил о прогулке Зеленографа, и была даже эта пара прогулок, и когда Сью заходила в мою квартиру одна единственный раз и стояла белой раскрашенной тенью у моего окна. Когда дни раскалывались надвое бритвами тревоги и срастались в один большой день светлым солнечным пятном. После этого общего, как вагон, дня разломилась, как краюха, судьба.

В тот год я отправился в дальний поход. Он длился сорок дней, мы прошли от речки смерти Аргут к Ярлу. Маленький мальчик, у которого отняли отца в тот месяц, невыносимо хлюпая огромными сапогами, спускался по мокрому километровому склону. Два дурака взяли с со-

бой семиместную палатку и остались на том берегу Текелю, потому что один из них не смог идти дальше, они спускались по самому отвесному и трехкилометровому склону. Остальные семеро сбежали по первому склону и заночевали на опушке в двухместной палатке. Поход начинался покупкой бараньего мяса, пением советских песен по белой замусоленной книжке. Я был рассказчиком для юношей. Сказка про Гулливера, перечитанная мной двадцать раз, была безбожно переврана. Мы неслись в маршрутке туда. Дети блевали. Играла песня «Наташа́, Наташа́, до чего ты хороша». Зеленая девственница Наташа от тошноты еле могла шевельнуть головой.

Мы залезли на крышу дома, который загораживал Кате луну, еще не отъехав в горы. Я испугался красной покатой крыши и спустился вниз. Именно тогда медленно поехало колесо, а Виола врезалась в дерево. Именно тогда Уй Дрок все простил ей. Когда мы вернулись с похода, у меня подгорела печеная картошка. Я пришел, выгнал какого-то молодого сторожа ее дома и чуть не заморил голодом кота Глупозавра. Было воскресенье, когда я приехал вновь. Уй Дрок и Виола вернулись из другого похода вдвоем, бросив мою сестру в пещере. Что я сделала ему, то есть мне, плакала Галина Чику, я никому не рассказывала о своем первом и погибшем юноше. Пожарище спалило ветхую постройку дачи. Уй Дрок стоял на

пепелище и глядел на карту, гугля на дом, который был когда-то и его домом.

Господин Гнев выгнал меня из РИА «Новости». Я поехал один в Санкт-Петербург на поезде за деньгами.

Глава седьмая

Отчего то, что казалось само собой разумеющимся, и наступало само, и оживляло фигуры на портретах, и наполняло кожу синим воздухом, и шевелило на голове волосы, вдруг с опозданием, после одного только общего дня, стало оползать, как талое солнышко в болото или физкультурный окоп, куда прыгали дети и который обнесли, где они плавали по весне на синих льдинах, а потом где выгуливали собак, а потом заколотили забором. Почему до сих пор болит нога от перемычки железных ворот, о которую столько бился и которую потом ночью отпилила с Уй Дроком сестра. Почему с тех пор, как это поле стоит заколочено тройными железными брусьями, все с промедлением, примерно в четыре года, как шайба, сорвавшаяся с крюка, и с легким, и мягким, и нежным скрежетом вдруг обветшало, а потом и вовсе облетело, как золотистый налет рисунка на фаянсовой чашке. Облетело, как тело, которого никогда не было, а вместо которого ходила душа, и вот сейчас, да, она стала видна. Ужасная душечка, бродящая по кладбищу с мокрым котом.

Почему Вол Ман видел там всегда это тело, женскую купальню, говоря, что мы с ним ни мужчины, ни женщины, говорил специально, чтобы рассказать мне про красивых и отдавшихся ему персиянок, обрывающиеся коврики синие, один за одним, от ветра, и прикладывая гранатовый сок к губам около часу девятого. Просияв синими песьими губами. Потому что Волу Ману нравилось чувствовать все, включая кобздец, особенно кобздец, особенно видоизменяющийся, неприметно красивый и уродский, псоглавый кобздец. Почему сейчас нет ничего, кроме ненависти во мне, заместившей собой летавшее восхищение и страх, радость земную петь словами и называть по имени вас, Зеленограф, Виола и Трубочистка, Влада, Идель и Инесса? Потому что тогда, в Новый шестой год, к Дому офицеров Уй Дрок подвез мне на машине Виолочку, и после тупого утра в менторской квартире с ненавистью друг к другу она сказала мне о том, что больше не любит меня только полгода спустя.

Я зашел к Уй Дроку, он сидел и светился. Пойдем попьем пива на улице, позвал он, а то тут Ира сидит, с такой постылостью, с таким непривычным горем и ненавистью, что и помыслить нельзя было то, что произошло, а можно только догадаться. Он что-то хотел сказать мне, что-то хотел чтоб я додумал. Я подождал было и сразу же убежал. Муж Виолы тихо смеялся, и видел бы, как они це-

луются, сквозь стекла машины, подходя к педагогическому институту, как мне рассказали! Тетка моя отказывалась понимать, перестала здороваться, вымучивая мне мозги своим новым горем недолюбков. Любимая татка моя. Почему я женился на шлюхе? А ты и не женился на мне, ты сделал шлюхой меня. И на это нечего будет возразить.

И тут же на рождество Уй Дрок подарил ей такого красного слона, какого я никогда не отдал бы ей живого. И тут же на рождество счастливая Женя улетела в Питер к Бешеному Алкоголику. И тут же четыре красных автобуса замерзли по дороге в Томск уже в феврале. И тут же в мае начался ремонт, складывались ужасные слова, золотые на вкус, как пыльца. А осенью не тут же, а прежде приехал Бобин, вернее, его забрали из Питера, и Трубочистка выбегала с ним голой из моря, а я не мог их отличить. И тут же, хотя нет, прежде, Зеленографа начало отшатывать от нее на полтора километра, потому что она, Трубочистка, разбила все бутылки в их общей мастерской, все светильники, все подсвечники, все стекла и зеркала. Начала лукавить и ненавидеть, а они снова шатались в великой дружбе, опять пьяными по ботаническому саду, опять фотографировались, опять пьяными, опять пили вино, пили вино, опять пьяными, невменяемыми, а потом опять подарили автомобиль на свадьбу, на которую мне идти не хотелось. Приезжала Косицына,

во второй раз, поила всех «гиннесом» и повторяла: нет, это не «гиннес», и спрашивала меня, почему же ты не позаботишься о Виоле, Силифакер?

Я позаботился, по талому синему марту мы шатались в солнце и целовались, целовались. Потом я быстро кончил, встал и ушел, так, чтобы больше никогда не давала. Потом был май, покупка дивана, вынос старых вещей и прощание с ними. Потом был футбол в Германии, загаданная беременность жены Капитана на день финала, смерть его тестя перед этим, и его месть, и предсказанное бодание Лысого. Потом были прогулки с Хакаской и Аннушкой, потом были первые газетные колонки с фашистскими статьями, полными антропософии. Потом был куплен телефон, который трубил как сирена, проданный дальше таксисту. Потом было знакомство с Цезарушкой, и часы музыканта Андраде, и ночевка с Виолой в высокой гостинице, где мы проборолись всю ночь, так она ужималась, а утром показала в зеркале свои маленькие грудки. Нет, это было уже через год, нет, этого не было вовсе. Возвращаясь с новогоднего праздника в железнодорожном институте с расстегнутыми штанами, я впервые ощутил безумную, неотступную тревогу эпилептика, полный паралич, и тот самый единый общий день, который тогда клонился к вечеру, ужас оторванной дудки зеркального цветка, историю, что кончается, не начавшись.

Новый год мы встретили с Пабло, Димоном и Антоном, не так, как раньше, когда играли друг другом в регби, когда Вола Мана запихали в мусоропровод, когда Трубочистка бегала от него по этажам. Перед этим мы два часа стояли на вокзале, чтобы в очередной раз первого января поехать на город счастье. А за год до этого, последний раз собираясь с Фиблоусом, Димоном и Пабло в его квартире, выставив голые животы, слушали Маринетти, пили водку и разошлись только утром. В ту встречу мы все решили только недомолвками, год спустя мы пили с Фиблоусом, сидя в сугробе, херес, а я в последний раз видел фиблову бабушку, как и он.

Легкие сны первого дня нового года, когда еще помнилось детство, уборка под елкой, все до мельчайшей соринки, полностью омытая на год квартира-голова, и все время еще показывали сказку про Обеликса и Фальбаллу, пока мы уносились в поезде в город счастья. Я еле-еле смог подняться на Столбы, а потом восемь часов бегал там под ними в страшном беспокойстве и выпил весь термос чая, пока Пабло и О. лазили по первому столбу с веревками. Там Пабло умудрился свалиться вниз головой в сугроб, закрывавший скалу. Нас встречал Стен, он даже пошел нам навстречу, так поздно уже было, когда мы вернулись. Его лицо в одиноком лесу, последнее счастье этого города, кроме бутылки флеша, которую он

купил мне через год, когда уже не мог слышать больше теорий про единый язык человечества.

Глава восьмая

Синие легкие слетавшие видения, недельные бессонницы, потемки света и тени, когда Женя встретила Сашку и была прекрасна, как хлопок, когда казалось, что свобода вот-вот наступит, можно будет только ткать из кружев ночи, греть ладони у костра, пока каменеет спина в тени, когда можно будет украсть воскресение из жизни. Уже уносилось полное затмение в поезде с газетами, раскрытыми красивыми врачами, уже мы уезжали в Киров. А когда вернулись, оказалось, что вечного дня нет, а есть лишь тревога, хрупче, чем раньше, обламывавшая ветви твои, но что с ней надо как-то жить. Из больницы на окраине города, где все видели больше святости и истончения кромки ткани ковра, прямо в школу, учить детей, детей, что снились ночами потом, смеющиеся, поющими, проказливые первоклассники, над которыми не мог строжиться. И так до новых годов, которые перестали иметь смысл, выходящей из длиннющей траншеи осени, разрезающей жутью тени на улицах, выходящий навстречу и подгибающий ноги гопарек, встреченные китайцы, которые сидели на заборе и хотели зарезать.

Осень надписей на гаражах, взломы Вола Мана, его красные краги. В тот год случилось первое возвращение Пабло, прогулки с Норой, у которой позже в замке видел ее портрет, в точности напоминающий портреты Трубочистки и Зеленографа, танец теней рук и лица Норы, черной как Нуррис, склоняющейся над столом, из-под которого ребенком выползла Персефона, и фото ее брата. Нора, черная Сью. Семь братьев у Норы. Нора, знающая неистовство плачей, на плитах разрушенной постройки заброшенного института. Гаврила, похожий на зулу, и Романовский, молодой, бьющийся этой осенью на листах ночей и ножей, с разбитой об автобусные остановки головой. И Гаврила-Зулу, которого относило все время на Березовую рощу, и я не знал, что и спустя три года и меня туда понесет. Танцы в «Даче», диджеит Сандро, Нора выплясывает на каблуках, а потом мы тащимся через пустой и обледенелый центр, где белый иней сверкает на черных пустых домах.

Осень, проведенная на Фабричной, когда состоялось великое стояние Пабло, Димона, Антона и Вола Мана, показавшее полную нетерпимость друг к другу, смешливое непонимание и отдельные камеры голов, где строились взгляды на чистоту жизни, восьмичасовое стояние, выстудившее квартиру в Доме грузчика для новой жизни, которая состоится. Нет, это не сейчас, а на

будущий год, а тогда, да, «гиннес» перестал быть «гиннесом», я пью одну за одной, в унтергрунде потекло сразу из трех туалетов. Восхищенные неврастенички, которых потом случайно встречаешь спивающимися, и рассказывающие ужасы про страшных отцов. Тут и огромные дудки, тут и сибирский моджахед Красный, гигантского роста и тогда в хаки, майке и с огромной бородой до пупа. Это после уже на витающем над Первомайским сквером дожде сквозь солнце он оказывается школьным историком, рассудительным до еле уловимой хитрости, и уезжает в Питер, чтобы быть околоточным в супермаркете.

Осень. Последний раз на дне рождения у Сью, которые начинались ранее, как правило, в двенадцать ночи. А еще это был день седьмого ноября. В подарок книга Александра Блока. Белая кровать Сью, отдельно от Джаджа, это уже после их жизни в трехкомнатном сквоте коммуной, когда Джадж изучал человеческое безумие и успокаивал деда-говоруна или одного из подобных ему говорунов-крикунов. Разговаривали и мы на повышенных тонах с Джаджем, историю которого я всем разболтал. Здесь же Уй Дрок и Виола. «Вас нет», — говорю я Уй Дроку, который уже стоит теперь рождественскую службу в городском Вознесенском соборе, где раньше ходил трамвай, а не в деревянной церковке, куда ходит брошенный сын, и разъезжает, и открыто ставит свою белую «ниву»

у ворот Виолочки, а у сестры ремонтирует квартиру, механизирует и инсультирует двух этих умных по-разному дур. Осень. Август. Звонок от Сью. На том конце провода Дима Чебуречек. Мы не спали здесь всю ночь, нам нужна помощь. Здесь не психбригада. Потом прогулки и встречи в случайных местах со Сью, по дороге к кирпичным казармам по соседству с вокзалом. Электронный Джонник тоже там. А теперь их там нет. Теперь там представления и декламация для Вити Веркутиса. Сходите к нему, мы уже слишком мертвые, говорит Безумная Поэтесса. Бригада психов никогда не поможет Баадеру и Майнхоф. Бригада психов мертва, как Майнхоф и Баадер.

Глава девятая

Василь разбился на машине и оставался прикованным к креслу. Ты сосешь у дьявола, говорил отец сыну. Тот разгуливал со своим годовалым племянником, размахивая пистолетом. Джадж эмигрировал на Алтай, поселился в домике и оттуда посылал всем сигналы. Он всех поимел, как стадион, на котором он однажды запрограммировал черные и белые кресла и систему выдачи билетов. Его друзья по-прежнему томились в рижской тюрьме. Смерти нет, ты не знаешь разве, строго сказал Бобин Волу Ману, я воспитаю твое дитя. Я буду торговать иллюзиями человеческих

лиц, я сделаю их мясными и такими, какими они сами не захотят видеть. Но я буду видеть все слои, вплоть до перевернутой точки окостеневшего зрачка распятия.

Распятый был на шкатулке. Там был изображен футбольный круг, в квартире, где я тогда жил. Я оказался там благодаря Джексону. Мы дважды столкнулись в метро на Красном, распрощавшись, казалось бы, навсегда. Это направило время в задний, запасной вагон, который катился в полной тьме, сам по себе, уже без рельс, за счет гармоники легких. Тугоплавкая пластинка, которую вставили Джексону в голову, спасла ему жизнь. Мы могли бы не встретиться никогда. Джексон носил шляпы и кепки и жил на Каштановой аллее. Он колесил на вездеходе по Мурманску, плавал в дельте Волги, забирался в кемеровскую шахту, пока рушилось вокруг все, и безумный Себастиан попадал под машину и бегал по Берлину с загипсованной ногой. Я ходил и покупал хлеб, и читал на каждой хлебной горбушке литанию Сатане. Я летел с турецкими детьми в красном поезде и выпрыгивал не на тех станциях, подъезжая к Альпам. Я думал провести ночь в Триесте, чтобы вернуться пешком оттуда, как Филонов, ходивший делать витражи. Я хотел видеть этот порт, описанный в операх.

Но это было все после, после. Сначала рождественский ребенок, с изломанной и забронированной

головой, смотрел на меня по-детски и дружил со мной в кинотеатрах, сидел у меня сутками дома и смотрел большими и счастливыми глазами, пока я не устроил ему пытки, где сорок минут читал лекцию о ее несбывшейся судьбе, Лореляй. Она предала и возненавидела всех, кто ей когда-либо что-либо дал. Богородичный румянец немецкой Мадонны спал, вместо пухлых губ и пуховика остались лишь белые волосы, черный плащ и поход в фальшивую опера́, где ей не петь, а той, кому петь в хоре, тоже уже не вернуться в тот возраст, в котором ее можно было бы полюбить. Прочитать лекцию девочке, если это значит выше, чем кончиться в ее объятьях и довести до слез, вот что такое песочный человек, вот что такое золото листьев, которые дьявол со смехом рассыпал передо мной. Лореляй, Лореляй, прости меня, а я тебя никогда, нет, никогда не прощу.

Пока провокатор Климов свистел в свистки свастики возле часовенки и магазина эпилептиков, пока он перебрасывал через себя убийц и латал дыры от ножей в пальто, пока олигофрен Артемка рисовал сатанинских богородиц и приковывал себя цепями вместе с белокурой Мари, любимой игноранткой Джексона, пока Плу показывала мне картины, такие же, как у Зеленографа, Трубочистки, и такие же, как портрет Норы, пока отрицание и запрет, прозрачный и внутренний кристалл крушил

сердца, пока группа воспламенителей бегала и верила в психов Христа, я стоял и оплакивал в ужасе трех покойниц и видел путешествие к большому дереву, куда старуха Фаина износила восемь сапогов, пока дошла до этого чудного древа. Пока летели розы в гроб Светланы Исаковны, пока таращило Черта из Табакерки от кропила воды сжигаемой Влады, пока мы все были как отроки в пещи и пока вашими руками вас же и наебали, пока вашими же руками строили новые тюрьмы, откуда вы извлекали мумии восточных цариц и зарытые останки узников совести, я стоял над тремя могилами и верил, что все воскреснет, что будет весна, что будет солнцеворот, и гнильца золотого травленого солнышка уходила все глубже, пока я не встретил Вола Мана в одну хрустальную ночь, когда родилась Черешня, когда я сидел, и смотрел на звезды, и гадал под небом Берлина, сколько звезд на небе, и Ганс Нойбах рассказывал мне свои тайные замыслы новых романов и говорил, что неплохо ведь тебе заплатили, когда мы выруливали из метро, выходящее в небо на Парижской площади, в твой день рождения, девочка Артурка, Лореляй Римбаудка, анюткина прибаутка.

Глава десятая

Я был в странной комнате, где перспектива была устроена так, что в ней умещались двое, один из которых смотрел

в большое светлое, но завешенное лесами окно, а другой сидел в конце узкой лунной тропы, дождливой дорожки, на мягких коврах, окруженный духом кельи. И один рассказывал другому историю, от которой тот соблазнялся, смеялся и ужасался, неудержимо, сладко, божественно смеялся. Эта комната была описана, многие побывали там. Но смеха богов, которого не унять до четырех утра вместе с пляшущей в белые ночи луной, до четырех утра рассветных сумерек, куда меня привел молодой старик в черном, но робко отказался у дверей. Почему я должен чувствовать себя смеющейся девочкой, потому что она только что разбилась, рухнув с елки, вместе с мокрым котом, и сама же ползает по полу, собирает свои осколки, отправляется странствовать, пропадает и блуждает по лесу по полгода, бьет себе голову оземь, плачет и летает по синему небу. Потому что она умеет любить, потому что она отправилась путешествовать, если бы не китайские погранцы, к месту гибели своего отца, и глубже, в детство узбекских мечетей, в счастье, которого не было, которое украли, в безумие тяжкой души, когда она живет в комнате с портретом, которая переворачивается и оказывается выходом в чистилище, Анусом Дьявола. Лучше так, в этой хрустальной комнате чувствовать елочную копоть и писк безумных любимых игрушек, в комнате, где после меня никто ничего не сделал, не покрасил, не сломал, где мне

в висок прилетела чашка, и я плакал, где я единственный раз ударил ее, многократно сбегая по лестнице, и не хотел возвращать ключа. Ты все равно, моя жестокая любовь, как зловещая скрипка осени на том стеллаже, где стоит книга о Тридцатилетней войне, которую тебе надо прочесть. Блуждаешь ли ты в Литве, Польше, едешь ли ты на автобусе во Францию, и тебе потом делают трепанацию черепа, и ты не можешь говорить, заглядываются ли на тебя жадные, голодные, нищие поляки и находишь ли ты сто долларов в Борисполе, когда в Закопане на дровнях катают твоего ребенка, помни, мой друг Санчо: я избыл себя в этой безвременной череде теней улиц, я заблудился в питерских пирожковых и красноярских ветлужанках с поваленными столбами, но этот портрет девочки вечен, и все несчастья, которые свалятся на нее, обезумевшую, голосящую, не пережить и за двадцать жизней Трубочистки, ее лучшей подруги.

Две девочки разглядывали друг друга, а Черная Нуррис, негритянка, подсматривала и прислуживала им до своей смерти. Теперь этот завистливый глаз и повизгивающий смех отдавались рыданиями и ругательствами. Старшая подруга быстро теряла ум, но отличалась любезною совещательностью, легкомысленностью и нетерпимостью. Она могла плакать только пьяными слезами над своей больной печенью. Причиной ссоры наших

двух любопытных прелестниц, капрала и трубочиста, стали маленькие котята, народившиеся в доме вскоре после инсульта хозяйки квартиры: не были попросту утоплены в ведре, а были вывезены за табор в бывшей деревне и оставлены, брошены в лесу. В этом было не стыдно признаться и показывать потом на пыльной каменистой дороге, многих водившей по кругу в околотке, то место возле бывшего коровника, где бедных птенцов могли съесть собаки. Таким образом подруги рассорились. В околотке было принято ухаживать и ходить за больными, несмотря на подступающие неопрятные запахи разложения, пролежни, духоту и разные другие смертные труды. Куда жальче было маленьких и беззащитных птичек-котят. Мы же отвезли их в деревню, они смогли бы там терпеливо выжить! К чему было носить эти фенечки, если не знать песен про мертвых котят, или бояться скорбящих защитниц слабых и униженных, растоптанных большими лаптями, собирающих старые симки с чужих телефонов на огородах Вола Мана? Стоит взглянуть в лицо Трубочистки в день ее сорокалетия — зеленое, мертвое, усталое, неживое лицо. Кто родился в дьявольский полдень, тому пригоршню листвы. А кто, как говорит немецкая сказка, в полночь того же дня, тому быть унесенной черным Эллекеном, просвистеть по небу три раза, как ласточки и стрижи, возвращающиеся в гнезда

белых хат и разбивавшихся о стекло хрустальных врат, и рушиться, как под ногами толпы очарованных волшебников Волов Манов, низвергающихся вместе с опорой моста в Еувфрат. Порка Мадоска, не мешкай, стреляй!

Тебе стоит прочесть книгу про Тридцатилетнюю войну. Там описано некое древо, распускающееся человечьими головами, молодильными яблоками, коровьими и воловьими глазами, древо, ставшее книгой, древо, на котором все народы в мае цветут и разносят грядки мотыгами и ножами, древо, которое улетает, как священный огонь Пасхи, которой, может, и не было никогда. Древо, от которого висельники на костре начинают свои лютые пляски в самые синие и темные холода, когда вы вылезаете на крышу твоего чердака, откуда слышно каждый шепот окрестного двора, и когда вы подправляете антенну, чтобы лучше слышать и видеть Кассиопею, Ковш, Млечный путь. Вы увидите себя на этом древе, не как Паоло и Франческу в черном и ледяном вихре, не как несущую через пустыню лепешки Психею, не как умирающую хвойную Хлою трех сосенок с бригадой психов. Вы увидите себя в новых могущественных лепестках короны тысячелистника, дождевика, улья басенных пчел. Такое дерево я видел во сне в лесу, когда читал пьяную книгу наступающей весны, за которой солнце кануло в Гибралтар и не взошло больше.

Когда Косицына приехала в третий раз — все вновь было по-старому, и щебет моей птички, и Черный Жиголо, который будил ее, прибегая из-за горы, как он спал пьяный и как ему было сказано, чтобы он воспитывал своих детей, которых у него нет, как Бобин, отпустивший бороду до пят и носящий колпак Дедушки Мороза, воспитывал Антигону и Электру, суя им в карманы острые дикобразьи иглы. Все было так же, как и двадцать лет назад, теперь, когда Косицына приехала в третий раз. Только уж не было того, того, третьего, Федота да Якова, да пятого на десятое. Все будет так же, как раньше, когда Косицына вернется в четвертый раз. Не в этой жизни и не на моем синем глазу.

Мы с Виолой стоим в волшебном лесу. Нас несет через переход через мост, к проруби, которая превращается в купель, где мы находили на берегу фиолетовые камни, теряли крестики, смотрели на рыбаков, бились в молниях волн. На виадуке она показывает мне, как правильно поднять бутылку. Машинист гудит в гудок, как в трубу. Поленья и стаканы лопаются с треском в шести частях света.

Эпилог

Мы бежим с Пабло по битому черному зеркалу Красного, пьем спотыкач, сверху валятся сосули, машины врезают-

ся в футбольные бары, свистит ветер, падают витражи от ударов каменного ветра. Мы бежим к машине, где лежит костюм Деда Мороза. Он один на двоих у нас. У детей будет Рождество и Новый год. В этом году.

Вол Ман спит и видит два черных урагана, два смерча, не такие маленькие, которые бывали ростом с человека на остановке Цветной у волшебного леса. Он пытается укрыться от них, чтобы как-то спастись. Затем Зеленограф проезжает на велосипеде по светлой дорожке и не узнает его.

В день смерти Усамы бен Ладена я сижу в аэропорту Кеннеди и слышу всю ночь в гостинице даунтауна дикие крики разъяренной толпы. В день штыка в жопе я сижу восемь часов в холодном Домодедовске, и думаю о Чернавочке, и допиваю виски из дьюти-фри.

В игре на Вознесение 13 года я вижу черную тень и бью Советника перчаткой в челюсть. 1 декабря 13 года, в день памяти отца Петра, Советник снимает мне мяч с головы и рассекает череп маленьким шрамом на стадионе городской команды «Сибирь-Чикалда».

Я не сплю всю ночь и пью наутро синюху с «айрн-брю». Когда я прохожу по месту «дежавю МММ», звонит Вол Ман и спрашивает: ты не на кладбище? Я думал, ты там. Сегодня Троица, надо прибрать наши могилы.

Я добредаю до кладбища только в декабрьское

утро, после разговора с Иреной, который длился двенадцать часов. Меня догоняет Пабло на грузовике, сообщив, что выехал очень быстро. Мы катаемся в сером и сумрачном лесу, после чего я засыпаю мертвецким сном.

Пабло снится, что он встречает в лесу медведя, дети будят его и расталкивают, и он гонится на своем американском грузовике, на котором вывез меня раненого в год, когда мы били витрины с Кузницей в Хрустальную ночь. В год, когда мы разуверились и переменились во всем. В год, когда не стало вечного дня, а общий вагон пробуксовал до ямы и накренился над ней после ярмарки. В год, когда я уезжал в последнем вагоне последнего метро. В год, когда я был счастлив двадцать минут так, что не хотелось курить, помузицировав с тобой и кончив в штаны на улице. У меня не осталось больше воспоминаний, кроме тех, что сбылись из снов: вывеска улицы в Филадельфии, где апрель, июль и март следовали как дни недели и где после двадцатичасового перелета снилась Инесса, не поздравленная в тот день с днем рождения; встреченная та же Инесса, как Иштар, сбегающая к киоску на улице Челюскинцев; гол, забитый во сне с полным переворотом вокруг себя; дым, как свет в берлинском борделе и разговор с дамой ресепшна; две сестры в кофейне, сидящие рядом со мной, снившиеся за десять лет до того в Рождество.

Но ничего не помнится больше, чем апрельская выставка в ЦДХ и работы Митурича на ней. Безумный, черный, больной — и светлый, и отошедший — два взгляда Хлебникова: один, который не сбудется никогда, и другой, который сбывается каждый день. Все остальное вы видели, наверно, в кино.

КОММЕНТАРИЙ

Комментарий

«Конец Покемаря» — собрание прозы Виктора Іваніва (Виктор Германович Иванов, 11.04.1977–25.02.2015), подготовленное автором, но не вышедшее в свет при жизни. В основном книга включает в себя произведения трех-четырех последних лет и в этом смысле является дополнительной, следующей за сборником «Чумной Покемарь» (2012). Тем не менее, монтирующий принцип книги не исчерпывается хронологией материала — выбранные и поставленные под общим заглавием произведения довлеют восприятию их в совокупности, как новое и отдельное художественное высказывание. Только по факту посмертного издания «Конец Покемаря» приобретает итоговый и мемориальный характер.

Впервые проект книги «Конец Покемаря» появляется в январе 2014 года. В это время Виктор Іванів заканчивает повесть с одноименным названием и получает предложение о выпуске книги избранной прозы в издательстве «Современная литература». Предполагавшееся издание было обусловлено получением гранта, в связи с чем, для предоставления в финансирующий институт, 12 января 2014 года Виктором Іванівым была написана *аннотация* (см. Приложение) «второго тома повестей и рассказов».

Несомненно, что писатель относился к нему именно как к таковому.

Первый том, «Чумной Покемарь» — репрезентативное собрание прозы Виктора Іваніва, важнейшая веха в творческой биографии писателя. Высланная в издательство Ailuros Publishing подборка рассказов за два дня (23–24 ноября 2011 года) интенсивной переписки с редактором и владельцем издательства Еленой Сунцовой превратилась в *собрание прозы*, о чем Виктор Іванів с благодарностью писал издателю 22 марта 2012 года: «НИКТО <sic!> бы не издал этого сборника». И, по выходу книги, в письме от 12 апреля добавлял: «Теперь моя семья признала во мне писателя. <…> Издание оч<ень> хорошее <…> — я читаю уже как будто было не со мной».

Кроме понятного удовлетворения результатом проделанной совместно с редактором работы, у подобной реакции на состоявшееся издание были и объективные причины. Доминирующие жанры прозы Виктора Іваніва — повесть и короткий рассказ (эссе, новелла) — традиционно слабо укладываются в современные потребительские книжные форматы. Неслучайно поставленное в конце упомянутой грантовой записки утверждение: «Цикл повестей и рассказов фабульно стремится к романному единству». Цель такой формулировки — не рассчитывая на понимание действительного

единства книги, декларировать его до опыта, открытым текстом в официальном документе, в надежде, что это поможет делу издания. В случае с «Чумным Покемарем» подобной рефлексии не понадобилось.

В определенной степени «Чумной Покемарь» был реанимацией замысла и расширенной версией прозаического сборника «Восстание грез», предложенного писателем издательству «Коровакниги» в 2008 году. Тогда сборник составили одноименная повесть, *поэма* «Шаровая молния» и блок рассказов, позднее вошедших в третий раздел «Чумного Покемаря» — «The Automnic Stories». Итогом той кампании стал выпуск отдельным изданием собственно повести «Восстание грез» (2009). Для издания, осуществленного Ailuros Publishing, были рассмотрены несколько вариантов состава: 1) предложенная подборка рассказов и не публиковавшаяся ранее повесть «Путешествие в город Антон»; 2) тетралогия «Володя Москвин», включающая, кроме «Путешествия в город Антон», повести «Город Виноград» и «Восстание грез», ранее опубликованные отдельными изданиями (2003 и 2009, соответственно), и новая, в то же время готовящаяся к публикации в журнале «Русская проза», повесть «Летовс-Wake»; 3) тетралогия и подборка рассказов; 4) наиболее фантастичный и все же принятый к реализации состав — тетралогия, «Шаровая молния» и цикл

рассказов «The Automnic Stories», объединенные было под названием «Чумное бдение», но уже скоро и окончательно — «Чумной Покемарь».

То есть в эпизодах сотрудничества с «Коровакниги» и Ailuros Publishing динамика книги от первого предложения до подписания в печать была направлена в противоположные стороны: в первом случае писатель предложил большую книгу, но удовлетворился изданием малой — ее части. Во втором — заявленный цикл рассказов был развит издателем (из письма Елены Сунцовой к автору от 24 ноября 2011 года: «я считаю, что прозы должно быть много») в полновесный том.

О более или менее постоянном присутствии пункта большой книги у Виктора Іваніва и готовности писателя поддержать любую инициативу в этом направлении, наряду с материалами неосуществленных проектов монтажных произведений (повестей, *сверхповестей*, книжных проектов), свидетельствуют и состоявшиеся публикации подобного рода. В них (следуя хлебниковской, но и добычинской практике) один и тот же текст нередко перерабатывался или, оставленный без изменений, включался в новую конструкцию, соответствующую текущим представлениям писателя о его художественном, но и публикационном потенциале. Так, новеллы «Мануэль Руй Кошта» и «Остров зрелищ» опубликованы в составе пове-

сти «Город Затон» (2005), а «Пабло Рамирес» и «Через выстрелы и взрывы» вошли в *сверхповесть* «Гальваническая болванка» (2010, опубликована в 2011). Эти произведения не были взяты (ни как целое, ни частями) в «Чумной Покемарь». Четыре названные новеллы пригодились для *второго тома* несколько лет спустя.

Подступом к реализации замысла новой большой книги прозы можно считать оформление в июле–августе 2013 года написанных в этом году и частично опубликованных текстов в *роман* (в другом списке — *романеска*) «Жирный шифр, в инее шарф». Под таким названием в итоге были созданы минимально два проекта: первый включал в себя собственно «Жирный шифр, в инее шарф» — четыре части и постскриптум, во втором варианте к ним добавлен блок коротких новелл, написанных в разное время. В еще один вариант книги (1 августа 2013 года), под заглавием «Обмани в воскресенье», по сравнению с предыдущей расширенной версией *романа* добавлена «Повесть о Полечке» (позже она станет «Частью первой» этой *повести*, а тогда была единственной). В письме Алексею Дьячкову от 15 августа 2013 года Виктор Іванів пишет: «получил заказанную сам себе верстку романа — <...> чтобы вычитать». Высланная писателем *верстка* не являлась прямым предложением новой книги издателю, занятому в это время другой его вещью

(собственно «Повестью о Полечке»). Но, не рассчитанный на конкретное издание, монтаж этих списков, несомненно, имел в виду такую возможность.

Работа над книгой была продолжена в связи с проявлением к ней интереса издательства «Современная литература». 11 января 2014 года Виктор Іванів оформляет проект под названием «Сбывшийся календарь». По сравнению с предыдущим списком, снята «Повесть о Полечке. Часть первая», видимо, как уже опубликованная, но добавлена новелла «Атос Remembrandt», а уже днем позже датирован файл упомянутой выше *аннотации* книги «Конец Покемаря» и первый файл книги с таким названием, включающий четыре из шести основных разделов окончательного списка, в том числе только что написанную одноименную повесть.

Называние законченного произведения или книги у Виктора Іванів — отдельный акт. Кроме выполнения собственно называющей функции, заглавие является еще и самостоятельным номером — произведением особого жанра, мастером которого был писатель. Точное название встраивается в корпус книги и озаглавливая ее, и как ее содержательный элемент. Как и в случае с «Чумным Покемарем», принятое заглавием — «Конец Покемаря» — собрало воедино, завершило конструкцию книги (а в связи со смертью писателя год спустя, приобрело

последние коннотации). Дальнейшие изменения в ее составе не являлись кардинальными.

Файлы с аналогичным составом датированы 30 января и 20 февраля 2014 года. Список от 1 июня 2014 года дополнили «Повесть о Полечке. Нулёвое окончание» и «Повесть о Полечке. Часть четвертая». Еще один летний файл, без «Части четвертой», но уже содержащий «Тиффози барнаульского «Динамо», или Консилиум колдунов», поступил в распоряжение Издательства Ивана Лимбаха, с которым обсуждалась возможность выпуска книги. В списке от 14 января 2015 года к частям «Повести о Полечке» добавлен постскриптум — «Песнь Кассандры». Ни один из этих списков не содержит ранее опубликованные две первые части «Повести о Полечке». Нет сомнений в том, что их отсутствие обусловлено не соображениями концептуального свойства, а опасением спугнуть издателя кажущимся большим объемом книги, который сокращался, разумеется, за счет уже вышедшей в свет части.

Так же, как и в случае с «Современной литературой», сотрудничество с Издательством Ивана Лимбаха не увенчалось изданием, однако его эфемерная возможность, безусловно, интенсифицировала и письмо, и составительскую работу писателя в этот период.

Последний авторский файл с книгой «Конец Покемаря» (*endpokemar_3.doc*) датирован 24 февраля 2015 года.

Относительно его состава в издание внесено одно значительное изменение — добавлены выпущенные писателем первая и вторая части «Повести о Полечке». Такое решение кажется приемлемым, во-первых, как не противоречащее опыту осуществленных проектов, во-вторых — ведущее к полнейшему представлению текстов в рамках авторского замысла.

Значительная часть текстов книги публиковалась ранее. Ряд произведений, не имеющих институциональных публикаций, представлены Виктором Іванівым в «Живом журнале» и доступны подписчикам пользователя mirmidon. Варианты текстов, сведенные автором в последний файл, не были отобраны по какому-то единому принципу. Часть из них идентична опубликованным (впрочем, отсутствие разночтений может свидетельствовать, иногда с достаточным основанием, о том, что редакции, а порой и корректуры, не было). Тексты ряда других опубликованных произведений взяты автором в первоначальном виде и не учитывают редакционной правки, согласованной перед этими публикациями.

Редакция благодарит Дмитрия Кузьмина, Катю Морозову и Елену Сунцову за предоставленные сведения о своей работе с Виктором Іванівым. Статьи Андрея Левкина «АнтиНьютон Іванів» и Энсли Морс «Восстание, о котором грезили», где авторы поделились своими на-

блюдениями за движением текста у Виктора Іваніва от файла к публикации, также оказались полезными для понимания границ допустимого редакторского произвола в отсутствии автора. Изученный опыт сотрудничества с Виктором Іванівым при подготовке его произведений к печати свидетельствует о том, что писатель был готов к той степени взаимодействия с редактором, на которую был способен последний.

Принятый в издании текст обоснован вынужденным компромиссом между желанием редакции следовать формально предъявленной авторской воле и очевидной необходимостью учесть ранее проделанную, но не актуализированную по случаю работу. То есть содержание файла *endpokemar_3.doc* принимается как рабочий инструмент — важнейший, но не облигатный источник как состава книги, так и текстов вошедших в него произведений.

Атос Remembrandt. Целиком печатается впервые. Глава «7. Мальчик Гей и Герман П.» опубликована автором в «Живом журнале» (14.08.2012) — *http://mirmidon.livejournal.com/235531.html.*

Жирный шифр, в инее шарф. Как целое впервые: Виктор Іванів. Жирный шифр, в инее шарф: роман. М.: Издательство им. Франтишека Богушевича, 2013. — 62 с. Под-

писано в печать 16 августа 2013 года. Авторский текст без редакции и корректуры. Выпущен 1 экземпляр. Из письма А. Дьячкова автору: «издал твой жирный шифр. Получилась брошюрка в 62 стр., несмотря на сей факт, можешь и дальше называть его романом». В чате с А. Дьячковым (22 августа 2013 года.) Виктор Іванів писал: «Я просто хотел начиная со второй части до предела осложнить понимание, а в третьей части сделать трип двадцати человек в одном лице. <...> Я не знал рассказы это или нет и затруднялся с определением жанра, но главная тема большей части — это наблюдение за матерью, втайне от нее и делая колдовство по продлению жизни. <...> Видимо это все лучше по отдельности. <...> Надо определить жанр, определить надо ли или оставить все как есть то есть бросить. <...> Или сделать еще несколько таких жанровых вещей. Что-то между рассказом и повестью <...> я запутался. <...> Ну там каждая вещь в своем отдельном ключе написана. <...> Тут общее что они пишутся примерно 10 дней, и формат у них примерно 1 и тот же: наблюдение за десятью днями. А в десять дней, попадает иногда действие которому уже 10 лет». В списках от 1 и 16 августа 2013 года с жанровым подзаголовком — *роман*. В списке проекта книги под названием «Сбывшийся календарь» от 11 января 2014 года — *романеска* (здесь несомненное освоение музыкального термина для уточнения жанровой идентификации литературного

произведения). В названии, вероятно, обыгрывается маскировка футбольного болельщика, находящегося на территории враждебной фанатской группировки.

Частями, кроме указанного выше криптоиздания:

«I. Курево» ранее не публиковалась.

«II. Солнечный и Гибралтарушка» — опубликована: Русская проза: Литературный журнал: Вып. B, 2013. С. 406–415. Подписано в печать 17.10.2013. Редакторы Д. Ларионов, С. Снытко. Републикация на сайте Post(non) fiction — *http://postnonfiction.org/ru-proza/ivanivruspr1/*.

«III. Эпизод на Ветрине» — опубликована на сайте Post(non)fiction (29.01.2013, редактор А. Левкин) — *http://postnonfiction.org/narratives/vetrina/*.

«IV. Опер из Кыштовки» ранее не публиковалась.

«P.S. Сквозная щербинка» — опубликована: ©оюз писателей № 15, 2013 — *http://magazines.russ.ru/sp/2013/15/13i.html.*

<Рассказ–Черновик>. Условное название, принятое редакцией для цикла, содержащего 20 «коротких новелл в экспрессионистском ключе», данного писателем в развитии: от детского мира в раннем «Рассказе», до «Черновика» — беглого *мемуара*, будто по итогам, с примыкающим к ним сценарием.

«Рассказ» — впервые: Черновик: Альманах литературный, визуальный. Вып. 12. — [Нью-Джерси —

Москва], 1997. С. 150–151. Редактор А. Очеретянский. Электронная версия на сайте «Вавилон» — *http://www.vavilon.ru/metatext/chernovik12/ivaniv2.html.*

«Мануэль Руй Кошта, или Рука, указующая берег» — впервые: Вавилон: Вестник молодой литературы. Вып. 8 (24). — М.: АРГО-РИСК; Тверь: Колонна, 2001. С. 179–180. Редакторы Д. Кузьмин, Д. Давыдов. — *http://www.vavilon.ru/metatext/chernovik12/ivaniv2.html.* В составе повести «Город Затон» — Дети Ра: № 3(7) 2005 — *http://magazines.russ.ru/ra/2005/3/za11.html.* На сайте Sports.ru в блоге «Между сеткой и линией ворот: Истории карликового футбольного коллектива города N» (29 марта 2013 года), с постскриптумом анонимного публикатора: «Когда-то давным-давно это написал один из самых оригинальных и популярных персонажей ФК „ПротоС“ — Виктор „БатиХХХ Вацек Штуцер“ Иванов». Публикация доступна по адресу: h*ttp://www.sports.ru/tribuna/blogs/karlikball/432431.html.*

«Острова зрелищ» — впервые: В моей жизни: Сетевой журнал литературных эссе. Вып. Телевидение в моей жизни (8 мая 2004 года) — *http://www.vavilon.ru/inmylife/06ivaniv.html.* В составе повести «Город Затон» — Дети Ра: № 3(7) 2005, см. в «Журнальном зале» — *http://magazines.russ.ru/ra/2005/3/za11.html.*

«Пабло Рамирес» — впервые: ©оюз писателей № 13, 2011, в составе сверхповести «Гальваническая болванка» — *http://magazines.russ.ru/sp/2011/13/iv3.html.* Частичная републикация, включающая фрагмент новеллы «Пабло Рамирес», на сайте «Сводонеб» (без указания даты) в разделе «Пан Оптикум» с характерным комментарием — *http://svodoneb.ru/index.php?pagename=edit_texts&action=view&id=26274*.

«Утро юрты» печатается впервые.

«Марафон» печатается впервые.

«Краснорозый» печатается впервые.

«Переодевание и разоблачение» печатается впервые.

«Жути помирай» печатается впервые.

«Две сказки для детей Стенли» печатается впервые.

«Толстой-Американец» печатается впервые.

«Через выстрелы и взрывы» — впервые: ©оюз писателей № 13, 2011, в составе сверхповести «Гальваническая болванка» — *http://magazines.russ.ru/sp/2011/13/iv3.html.*

«Струйка песочных часов» печатается впервые.

«Покидая свое тело, как пожарище» печатается впервые. Предполагалась публикация в журнале «Прочтение», но в связи с закрытием его бумажной версии летом 2009 года не состоялась (см. также комментарий к «Тиффози барнаульского «Динамо», или Консилиум колдунов»).

«Волосы Влади» — впервые, под псевдонимом Владимир Москвин: Журнал «Рец» № 56, май 2009. С. 89–91. Редакторы: С. Соколовский, О. Зондберг. — *http://polutona.ru/rets/rets56.pdf*.

«Круг природы» печатается впервые.

«Истлевшие фото» печатается впервые.

«Али-Баба схвачен» печатается впервые.

«10 лет, 20 лет» печатается впервые.

«Черновик» — впервые: COLTA.RU(29 февраля 2016 года) — *http://www.colta.ru/articles/literature/10245* в анонсирующей данное издание публикации. Названием отсылает к нью-йоркскому альманаху «Черновик», в котором состоялся литературный дебют писателя (см. комментарий к «Рассказу»). Помещенный в конце новеллистической подборки, закольцовывает структуру раздела.

«Про арбуз (*сценарий*)» — впервые на сайте Post(non)fiction (29.01.2013, редактор А. Левкин) — *http://postnonfiction.org/projects/ivn/*. В проекте книги, предложенной Издательству Ивана Лимбаха, выделен из новеллистического цикла в специальный раздел.

Повесть о Полечке. Целиком публикуется впервые. В интервью А. Чанцеву (Частный корреспондент, 27.06.2014), отвечая на вопрос о соположении прозаической и поэтической составляющих в своем творчестве: «На каждую из

частей «Повести о Полечке» уходят примерно сутки почти непрерывного письма, если сохранять правила единства времени и действия. Потому эти короткие вещи в прозе удобнее монтировать с помощью стихового ритма и рифмы».

«Часть первая. Поминай как звали, начинай сначала» и «Часть вторая. Жигуленок «Москвич» и зиппо на джинсах», впервые — отдельным изданием: Іванів В. Повесть о Полечке. — М.: Коровакниги, 2014, 40 с. Вышла 20.12.2013. В книге названия частей изменены: «Поминай как звали, начинай сначала. Повесть о Полечке. Часть первая с приложением глав с I по XI» и «Жигуленок «Москвич» и зиппо на джинсах. Повесть о Полечке. Часть вторая с приложением глав с I по VIII» соответственно. На предложение А. Дьячкова рассказать «коротко, в чем там дело», Виктор Іванів ответил: «Приключения прошлой осени — смесь реальности и вымысла». Публикация «Части первой» планировалась в журнале «©оюз писателей», но позже автор забрал произведение из журнала и передал в «Коровакниги», в письме от 19 июня 2013 года Виктор Іванів пишет: «Полечка свободна». 22 сентября писатель сообщил издательству о том, что «начал вторую часть <...> Полечки». 23 сентября «Часть вторая» была закончена и принята дополнением к уже сверстанной «Части первой».

«Нулёвое окончание» и «Часть четвертая и последняя», как целое под названием «Повесть о Полечке. Нулёвое окончание», впервые: Премия Андрея Белого (2011-2012): Альманах / [сост. Б. Останин]. — СПб., 2016. С. 259–278. «Нулёвое окончание» (третья часть) состоит из шести песен, каждая из которых по написании воспринималась как последняя до тех пор, пока не сочинялась очередная. «Песнь третья, сиреневая» впервые опубликована на сайте «Прочтение» (03.04.2014) — *http://prochtenie.ru/passage/27536*, в качестве отрывка из «третьей части книги». Если в «Песни третьей, сиреневой» определение песнь еще тождественно части, то с появлением продолжений («Песнь четвертая, неизбежная», «Песнь пятая, короткая», «Песнь шестая, непонятная», «Песнь 7-я, основная», «Песнь восьмая, последняя») стало понятно, что ее иерархический статус в произведении локализуется уровнем ниже. Об обособленности третьей и четвертой частей «Повести о Полечки», кроме плана настоящего издания, свидетельствуют и раздельные публикации в «Живом журнале» автора: «Повесть о Полечке. Окончание» (28.03.2014) — *http://mirmidon.livejournal.com/274827.html* и «Повесть о Полечке. Ч. 4 и последняя» (20.10.2014) — *http://mirmidon.livejournal.com/276817.html.*

«P.S. Песнь Кассандры» — впервые: Іванів В. Себастиан и в травме. — М.: Коровакниги, 2015. С. 14–16. Кни-

га подготовлена автором, издана посмертно (02.10.2015). Название изменено на «Полечка. Песнь Кассандры», где часть названия до точки обозначает принадлежность к «Повести о Полечки», из которой она выделена для сборника лирических стихотворений. В тоже время, здесь полечка, возможно, используется в качестве иронического маркирования музыкальным термином (ср. с романеской в «Жирный шифр, в инее шарф») частного случая жанра метрической рифмованной прозы.

«P.P.S. Письмо Ольге Николаевой» печатается впервые. Опубликовано автором в «Живом журнале» — «Письмо Ольге Николаевой» (17.01.2015) — *http://mirmidon.livejournal.com/277728.html*.

Тиффози барнаульского «Динамо», или Консилиум колдунов. Впервые: Носорог №2, осень-зима 2014/2015, стр. 73–84. Редактор К. Морозова. В письме А. Дьячкову (02.12.2014): «Это очередной неудавшийся роман. Мне просто надоело и связал все сюжетные линии. Просто могло быть например 40 ограблений <...>. Реальное действие происходило в ночь на проигрыш бельгам <...> я там оказался запертым в закрытом квартале потом задымился рынок и Пабло подумал что это я спалил его дом, с одной из горок так казалось, просто соседний с ним дом уже палили там был реальный поджог но про

это Курицын не напечатал в свое время журнал закрылся». См. также комментарий к «Покидая свое тело, как пожарище».

Конец Покемаря. Впервые:Волга № 7–8, 2014. — *http://magazines.russ.ru/volga/2014/7/5iv.html.* В письме А. Дьячкову (14.02.2014): «Перечитал <повесть>, нашел ее неплохой. Писалась очень тяжело. <...> Когда писал эту думал что последняя. <...> Эту вещь я давно задумывал».

«Конец Покемаря» аннотация к сборнику повестей и рассказов Виктора Іваніва

Второй том повестей и рассказов Виктора Іваніва, «Конец Покемаря», составляют произведения, написанные в 2010-е годы, не вошедшие в первый том прозы «Чумной Покемарь». Короткие новеллы в экспрессионистском ключе и короткие повести сочетают в себе черты прозы 20-30-х гг. прошлого века, от К. Вагинова и Л. Добычина до С. Кржижановского, и фабульно восходят также к новеллистике европейской литературы барокко и классицизма, от Гриммельсгаузена до аббата Прево и Кребийона-сына, где эстетика комедии жизни подразумевает некоторую фривольность мемуара в сочетании с жестко поданной схемой столкновений и случаев в современной судьбе героев. Продолжение традиции письма русских классиков, в первую очередь, Гоголя и Хлебникова, позволяют найти выход и новое решение для классического нарратива, а именно фантастической повести, романа воспитания и романа путешествия, в моментальной и всякий раз новой ситуации монтажа сцен. Мозаичность и восточная орнаментальность построения всякий раз по новому позволяет автору решить стилевую задачу, тогда как стиль служит

лишь лекалом для обнаружения категорий времени и сознания, показывающих совокупность жизни трех поколений героев, переживших переломные моменты истории последней половины столетия. Основным контрапунктом этой прозы остается возможность сохранения личности героя в ситуации крайнего ужаса, огромной радости, и глубокого стыда, тогда как последовательное наблюдение времени, как календарного, так и внутреннего сохраняют в героях способность открыто чувствовать как перемены, связанные с весенним обновлением и осенним угасанием природы, так и повседневные обиходные жесты и поступки, в которых осуществляется их собственный выбор, который в итоговом сюжете оказывается предопределенным. Приключения героя, его воображения и сознания, в конечном итоге, зависит от воли случая, который преподносит странную развязку для этой комедии нравов, в которой те, кто осмеивал достойное, оказываются посрамлены, а те кто верил в свою исключительность возвращаются к пониманию и приятию жизни, которая оказалась им не по зубам. Время действия «Конца Покемаря» охватывает период последнего сорокалетия. Цикл повестей и рассказов фабульно стремится к романному единству и содержит большое количество занимательных фактов, деталей, описаний редкой чело-

вековой натуры, способов мышления, которые сегодня оказываются на границе исчезновения.

От редакции. Аннотация написана Виктором Іванівом по просьбе Даниэля Орлова (Фонд «Русский текст») для обоснования гранта, покрывающего расходы на выпуск в издательстве «Современная литература» книги «Конец Покемаря». В архиве писателя два файла от 12 января 2014 г., содержащие текст: *анонс.doc* и *анонс книги Конец Покемаря.doc*, сохраненные с интервалом в пять минут – 12:21 и 12:26, соответственно. Содержание второго файла от первого отличается только наличием заголовка.

Текст публикуется в авторской редакции, без каких-либо изменений, как своеобразный артефакт, интересный с точки зрения социологии литературы документ. Но не только. Аннотация содержит декларацию вовне исповедуемых писателем художественных принципов, реализованных в книге или, скорее, их проекцию, сформулированную по требованию.

Корректура *Елена Горшкова, Сергей Лебедев*
Дизайн и верстка *Сергей Пацюк*
Руководство изданием *Алексей Дьячков*

Издательство «*Коровакниги*», *facebook.com/cowbooks*
Книготорг «*Медленные книги*», *slowbooks.ru*

Тираж *300 копий*

Печать *типография «Радуга», raduga-print.ru*

Москва • 2017